

Алексей Апухтин

Неоконченная повесть



Алексей Николаевич Апухтин

Неоконченная повесть

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2826965

Аннотация

«В те времена, когда из Петербурга по железной дороге можно было доехать только до Москвы, а от Москвы, извиваясь желтой лентой среди зеленых полей, шли по разным направлениям шоссе в глубь России, – к маленькой белой станции, стоящей у въезда в уездный город Буяльск, с шумом и грохотом подкатила большая четырехместная коляска шестерней с фореитором. Вероятно, эта коляска была когда-то очень красива, но теперь являла полный вид разрушения. Лиловый штоф, которым были обиты подушки, совсем вылинял и местами порвался; из княжеского герба, нарисованного на дверцах, осталось так мало, что самый искусный геральдик затруднился бы назвать тот княжеский род, к прославлению которого был изображен герб...»

Содержание

Часть первая	4
I	4
II	9
III	12
IV	17
V	22
VI	28
VII	34
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Алексей Николаевич Апухтин

Неоконченная повесть

Часть первая

I

В те времена, когда из Петербурга по железной дороге можно было доехать только до Москвы, а от Москвы, извиваясь желтой лентой среди зеленых полей, шли по разным направлениям шоссе в глубь России, – к маленькой белой станции, стоящей у въезда в уездный город Буяльск, с шумом и грохотом подкатила большая четырехместная коляска шестерней с фореитором. Вероятно, эта коляска была когда-то очень красива, но теперь являла полный вид разрушения. Лиловый штоф, которым были обиты подушки, совсем вылинял и местами порвался; из княжеского герба, нарисованного на дверцах, осталось так мало, что самый искусный геральдик затруднился бы назвать тот княжеский род, к прославлению которого был изображен герб. Старый, осанистый кучер был одет, несмотря на лето, в армяк зимнего покроя, а в должности фореитора состоял дюжий парень в красной рубахе и лаптях. Лошади были разнокалиберные, сбруя сборная, кое-где торчали веревки. Лакей в ливрее и картузе сидел на местечке, приделанном сзади коляски. На крыльце станции черноволосый человек в белом нанковом сюртуке, приложив руки ко лбу в виде зонтика, всматривался в подъезжавший экипаж. Это был смотритель, обруселый еврей, известный всей округе своим искусством делать кулебяки и какие-то необыкновенные битки в сметане.

– Матушка, ваше сиятельство, по какому случаю пожаловать изволили? – подобострастно залепетал он, сбегая с крыльца и помогая лакею отворить коляску.

Не без труда оттащили они общими усилиями разбухшую дверцу и вынули из коляски пожилую тощую даму, с усталым и недовольным видом. Впрочем, с первого взгляда никак нельзя было определить ее лет. И лицо, и прическа, и платье – все в ней как-то вылиняло и потерялось. Только большие черные глаза говорили о прежней красоте.

– Здравствуй, здравствуй, Абрамыч, – отвечала она, с трудом попадая ногами на ступеньки коляски, – сына встретить приехала. Ведь мальпост¹ еще не пришел?

– Никак нет, ваше сиятельство, с минуты на минуту ожидаем; пожалуйста на станцию.

Вслед за пожилой дамой легко и грациозно выскочила из коляски молодая девушка в розовом ситцевом платье. Ей было лет шестнадцать; она, видимо, еще не вполне сложилась, черты лица были неправильны, румяный загар покрывал ее смуглые щеки. Глаза – большие и черные, такие же, как у пожилой дамы, смотрели далеко не по-детски.

Было жаркое июльское утро. Комната, в которую вошли путешественницы, украшалась двумя жесткими диванами, обитыми черной кожей; перед каждым диваном стоял стол из карельской березы; в простенке висело большое зеркало, сверху донизу исцарапанное проезжающими. Несмотря на отворенные окна, было невыносимо душно; целые мириады мух жужжали кругом и нисколько не смущались тем, что на каждом окне стояла тарелка с мухоморами.

– Ох, устала же я! – говорила княгиня, опускаясь на диван, – ты, Соня, как хочешь, а я подремлю немножко. Да вот что, Абрамыч: ты нам к приезду мальпоста биточков приготовь,

¹ Мальпост – почтовая карета, перевозившая пассажиров и легкую почту.

да побольше, а то Сережа с дороги проголодается. Ты моего Сережу не узнаешь – совсем большой стал. Шутка ли, зимой уж выйдет из лица, чиновник будет.

– Будьте покойны, ваше сиятельство, голодными не отпустим.

Абрамыч пошел распоряжаться; княгиня задремала. Соня вышла на крылечко и, усевшись под тенью навеса, вынула из кармана маленькую книжку. Это был один из французских романов, которые Соня систематически выкрадывала из отцовской библиотеки. С жадностью начала она читать; некоторые страницы так ей нравились, что она останавливалась и перечитывала их снова. Время от времени она сходилась с крылечка и пытливо всматривалась в дорогу. Она с нетерпением ждала брата: он был ее единственным другом и поверенным всех ее тайн. Они ничего не таили друг от друга и даже переписывались особым условным языком... Жар усиливался. Кругом все окончательно замерло и заснуло. Только несколько белесоватых кур неумоимо клевали что-то посреди дороги; между ними важно прогуливался большой петух и по временам пронзительно выкрикивал. Прошло более часа. Старый ямщик, с кнутом в руке, подошел к Соне.

– Взгляните-ка, барышня, на «сошу»: кажись, дилижанец идет. У меня глаза плохи стали, не разберу.

С горы медленно спускалась какая-то черная масса.

– Он, он и есть! – повторил ямщик, – надо ребят будить. Станция зашумела. Соня, осторожно спрятав книгу в карман, разбудила мать, которая, жалуясь на усталость, выплыла на крылечко. Через несколько минут раздался трубный звук, и совсем заморенные лошади подвезли тяжелую почтовую карету.

– А вот и Сережа! – вскрикнула Соня, выбегая на дорогу.

Из наружных мест мальпоста вылезала лицейская фуражка. Лица нельзя было разглядеть – до того оно было покрыто густым слоем пыли. В два прыжка Соня очутилась около лицеиста, обвила его шею руками и звонко поцеловала в губы. Потом она отшатнулась, едва не упала с приступки и, прошептав: «мамочка, это не он!» – убежала на станцию. Лицеист, вытирая почти черным платком лицо, остановился на полдороге в величайшем смущении. Замешательство его было так велико, что он уже занес одну ногу назад, чтобы спрятаться на прежнее место. Княгиня остановила его.

– Молодой человек, простите мою ветреницу: она вас приняла за брата. Ну, что же вы стоите на приступке? *Descendez done a la fin!*² Разве мой сын, князь Брянский, не приехал с вами?

– Извините меня, княгиня, – забормотал бедный лицеист, решившийся, наконец, спуститься на землю: – я так запылен... Сережа, то есть, виноват, Брянский, не достал места в мальпосте и решил с одним товарищем ехать на перекладной...

– А! Это, верно, с Горичем? Сережа писал, что привезет его в деревню. А ваша как фамилия?

– Угаров, я товарищ вашего сына и Горича.

Между тем они вошли в станционный дом.

– Соня, рекомендую тебе: Угаров, товарищ Сережи... Как имя и отчество?

– Владимир Николаевич.

Соня, еще не оправившаяся от постигшей ее катастрофы, церемонно присела, но в то же время пытливо всматривалась в вошедшего. Среднего роста и довольно плотный лицеист был очень некрасив собой. Непричесанные белокурые волосы торчали на голове какими-то вихрами, липкая пыль лежала пластами на лице, глаза – добрые, но красивые, выражение лица было симпатично и в ту минуту глубоко несчастно. Княгиня не переставала допекать его.

² Спускайтесь же, наконец! (фр.).

– Позвольте, молодой человек, вы говорите, что сын мой решил ехать на перекладной, но в таком случае он был бы здесь раньше вас. Отчего же его нет?

– Вот видите, княгиня, – оправдывался Угаров, – Сережа и Горич встретили в Москве одну знакомую, то есть, виноват, одного знакомого, и согласились вместе обедать, а из Москвы выехать в ночь...

– Да, знаю я этих знакомых! – процедила сквозь зубы княгиня, – теперь застрянет в Москве на несколько дней.

Разговор замолк. Всем было неловко.

В это время появился в дверях Абрамыч с блюдом битков.

– С приездом, честь имею поздравить, – громко пробасил он и, обратясь к Соне, прибавил: – ну, и молодец же ваш братец – весь в вас.

Соне показалась так смешна мысль, что этот безобразный лицеист похож на нее, что она не выдержала и громко расхохоталась. Княгиня также кисло засмеялась и предложила Угарову позавтракать. При этом она спросила его, не сын ли он бывшего медлянского предводителя, и заявила, что с матушкой его встречалась когда-то на выборах, а с отцом была хорошо знакома.

Вообще с приездом мальпоста княгиня оживилась. Она подозвала к окну седенького старичка-кондуктора с сумкой через плечо и потребовала у него список пассажиров. Все внутренние места кареты были взяты «под генеральшу Кублицеву», которая ехала вдвоем с компаньонкой. Компаньонка эта – толстая, красная девица, изнемогавшая под тяжестью голубого шерстяного платья, не замедлила появиться на станции и заказала лимонад для генеральши. Княгиня поговорила и с ней, назвала себя и даже выразила желание повидаться с почтеннейшей Анной Ивановной Кублицевой, с которой она была давно знакома. На это предложение компаньонка только замахала руками.

– Нет, ваше сиятельство, это никак, никак невозможно: вот уж четвертую станцию Анна Ивановна находятся в очень нервном состоянии; я даже доложить не смею.

И, подтвердив распоряжение о лимонаде, она торопливо направилась к спущенным шторам кареты. В наружных местах, рядом с Угаровым, значился надворный советник Придошенский.

– Ах, боже мой! – воскликнула княгиня, – да это Тимофеич... Где же он?

Оказалось, что Придошенский спал в мальпосте, и княгиня приказала немедленно разбудить его.

Между тем биточки стыли на столе, и никто до них не дотрогивался.

– Ваш товарищ Горич... – заговорила Соня, – скажите, какой он человек?

– Мне трудно ответить на этот вопрос, княжна, – о нем самые различные мнения. Во всяком случае, он очень, очень умен.

– А он красив собой? Кто лучше: он или Сережа?

– Красивее Сережи у нас никого нет. Сережа очень похож на вас.

– Вот как! вы уже говорите мне комплименты.

Угаров покраснел как рак. Он и не воображал, что говорит комплимент. Замечание это вырвалось у него совершенно искренно.

На выручку ему явился Придошенский. Заспанный и грязный, с заплывшим лицом и сизым носом, он был верным снимком приказного допотопных времен. Когда-то он был заседателем змеевской гражданской палаты, сколотил на этом месте порядочный капитал, вышел в отставку и был известен по всей Змеевской губернии как искусный ходатай и нужный человек по всевозможным делам.

– Хорош Тимофеич! – говорила, смеясь, княгиня, – чуть не проспал нас.

– Мог ли я ожидать встретить здесь мою повелительницу? – завопил сиплым басом Тимофеич и подошел к ручке к княгине, потом к Соне.

– А мне как раз нужно дать тебе маленькое поручение в Змеев...

Но оказалось, что у княгини был для Тимофеича целый ворох поручений. Он должен был поговорить с купцом Лаптевым о процентах, взыскать с купца Авилова деньги за овес, передать преосвященному Никанору жалобу княгини на благочинного, вывести в губернаторской канцелярии, когда губернатор поедет на ревизию в Буяльск и не заедет ли он к ней, в Троицкое, зайти в кондитерскую к Мальвинше и заказать ей десять фунтов конфет к Ольгину дню, да чтоб Мальвинша туда побольше помадки положила, и т. д., и т. д. Приидошенский только пыхтел и завязывал узелки на своем огромном клетчатом платке, от которого так и разило табаком и спиртом. За другим столом разговор, видимо, оживился.

– Как странно мы с вами познакомились, Владимир Николаевич! – говорила Соня, щуря глазки. – Но это, может быть, к лучшему. Так скучно все, что обыкновенно. Ведь вы на меня не рассердились?

– Помилуйте, княжна, могу ли я за это сердиться?

– Ну, а если не сердитесь, исполните одну мою просьбу. Оставайтесь здесь и поедemте с нами в Троицкое.

– Этого я никак не могу сделать.

– Отчего?

– Оттого, что матушка ждет меня и, вероятно, выедет навстречу ко мне в Медлянск.

– А где это Медлянск? Далеко отсюда?

– Около ста верст, это за Змеевом.

– Ну, так вот что: в Ольгин день мамины именины, и у нас бывает много гостей. Обещайте, что к этому дню вы непременно к нам приедете.

– О, это с величайшим удовольствием, если только княгиня мне позволит...

– А вы очень любите вашу матушку?

– Да, очень: я никого не любил так, как ее.

– И вы уверены, что это всегда так будет, что вы никого не полюбите больше ее?

Угаров подумал немного и сказал:

– Да, совершенно уверен.

Соня хотела еще что-то сказать, но в это время под окнами раздался гневный голос голубой компаньонки.

– Генеральша приказала спросить, – приставала она к кому-то, – что это значит? Лошади давно заложены, а мы не двигаемся... Анна Ивановна очень-очень сердятся и непременно будут жаловаться...

Пришлось расставаться. Княгиня проводила Угарова до кареты и подтвердила ему приглашение побывать у них в Троицком. Когда кондуктор уже прилаживал свою трубу, чтобы дать сигнал к отъезду, княгиня вдруг неожиданно вскрикнула: «Стой, стой!» Оказалось, что она забыла дать Приидошенскому какое-то очень важное поручение к губернскому землемеру. Княжна смотрела из окна на отъезжавшую карету и думала, что этот Угаров совсем не так дурен, как показалось ей в первую минуту. Княгиня вернулась в комнату совсем усталая и очень недовольная тем, что даже издали ей не удалось увидеть «эту дурищу Кублицеву, которая бог знает что о себе воображает...»

Через четверть часа после отъезда мальпоста к подъезду подкатила лихая тройка с колокольчиком и бубенцами. Соня не успела подбежать к окну, чтобы посмотреть, кто приехал, как уже очутилась в объятиях брата. Вслед за Сережей вошел другой лицеист, небольшого роста брюнет, с изящными, хотя слишком самоуверенными манерами и насмешливым взглядом. Обнимая брата, Соня успела шепнуть ему: «Представь себе, Сережа, я сегодня поцеловала Угарова». Сережа не выразил никакого изумления, но, представив матери своего товарища, выскочил с сестрой на крылечко, где долго шептался с ней. Они, видимо, спешили наскоро сообщить друг другу важнейшие секреты. Княгиня тем временем расспро-

сила Горича о всех его родных. С отцом его – лицейским профессором – она познакомилась, когда отдавала Сережу в лицей. Опять появился Абрамыч со свежими биточками, которые на этот раз имели полный успех. Сейчас же приказано было закладывать лошадей, но кучер куда-то скрылся, и его долго не могли найти. Потом явилась необходимость двух лошадей подковать, потом вздумалось княгине пить чай в городском саду, потом послали фореятора верхом на почту узнать, нет ли писем. Наконец, коляска была подана. Подсаживая княгиню, Абрамыч шепнул ей:

– А за кушанье и за корм лошадей прикажете в счет записать?

– Конечно, в счет, – отвечала княгиня совсем усталым голосом, когда пришлешь в Троицкое за маслом и мукой, тогда сосчитаемся.

В заключение произошла долгая борьба с дверцей. Несмотря на соединенные усилия всего общества, она ни за что не хотела захлопнуться, так что пришлось привязывать ее веревками. Почти уже стемнело, когда знаменитый рыдван съехал с шоссе на проселочную дорогу, по направлению к селу Троицкому, до которого от станции было, по мнению княгини, «верст пятнадцать и никак не больше восемнадцати», а по мнению Абрамыча – «двадцать пять с хвостиком».

II

Угаров уселся на свое место совсем ошеломленный встречей с Соней. Влюбчивый от природы, он уже в течение трех лет любил свою соседку, Наташу Дорожинскую, дочь медлянского предводителя. Слова: в течение трех лет – надо понимать буквально, т. е. он влюблялся в нее только летом, а зимой он как-то забывал ее и усердно ухаживал за разными петербургскими барышнями, с которыми ему приходилось встречаться. В последнюю зиму он особенно часто бывал у своего товарища Миллера, и сестра его, голубоглазая и сентиментальная Эмилия, сразу ему приглянулась. Они вместе читали стихи, играли в четыре руки на фортепиано и говорили о любви. Весной, готовясь к экзамену вместе с Миллером, Угаров раза три украдкой поцеловал пухленькую ручку Эмилии, вследствие чего решил, что он действительно влюблен. На прощание Эмилия подарила ему закладку для книг: по черному фону она разными шелками вышила слово «Souffrance»³. Эту закладку Угаров не решался уложить в чемодан, а держал в кармане куртки и на железной дороге несколько раз прижимал ее к сердцу. В Москве, пересев в мальпост, он невольно вспомнил свое прошлогоднее путешествие, и Наташа Дорожинская начала понемногу чередоваться в его воображении с Эмилией. Встреча с Соней вытеснила обеих, и Угаров, глядя на спящего Приидошенского, старался вспомнить и шептал все слова, сказанные княжной. Он чувствовал ее горячий поцелуй на своих губах, хотя и повторял про себя, что поцелуй этот был предназначен для другого и никогда не повторится.

Приидошенский, проснувшись, конечно, сейчас же заговорил о семействе Брянских. Он осыпал их всех большими похвалами, но похвалы его как-то более относились к прошедшему. Князь Борис Сергеевич Брянский был когда-то очень умный человек и хороший генерал, но лет шесть тому назад его разбил паралич, и он теперь живет только в тягость и себе и другим. Княгиня Брянская, из рода Карабановых, когда-то была первой красавицей в губернии, но так как господь одарил ее хорошей памятью, то она «этой своей прежней красоты никак забыть не может». Состояние у них когда-то было огромное, но со времени болезни князя сильно порасстроилось. «Ну, что бы им дать мне полную уверенность! – прибавил он с наивной откровенностью. – Я бы, конечно, поживился, но и у них дохода было бы не меньше прежнего». Кроме Сережи и Сони, у Брянских была еще старшая замужняя дочь, Ольга, красавица и любимица князя. Муж ее, гусар Маковецкий, был «прекрасный человек, даром что поляк», но в последние годы, получая меньше содержания от князя, пустился в игру и разные аферы. О Сереже Тимофеич сказал: «Ну, этого вы знаете лучше меня!» – а о Соне выразился так: «Вот с княжной Софьей Борисовной попробуйте сто лет в одном доме прожить, и то не раскусите. В Древней Греции девиц таких сфинксами называли». И, очень довольный высказанной им эрудицией, Приидошенский вынул из табакерки огромную щепотку «цареградского».

Верст за десять не доезжая до Змеева, мальпост остановился у маленького мостика, соединявшего шоссе с широкой проселочной дорогой, обсаженной ракетами. За мостом стояла карета генеральши Кублицевой, и громадный дом ее, с зеленым куполом, виднелся на горе. Ее сын, моложавый, но уже почти лысый полковник, в флигель-адъютантском сюртуке, почтительно держа в руке фуражку, отворил дверцу кареты. Анна Ивановна поздоровалась с ним сухо и, подозвав стоявшего поодаль приказчика, начала распекать их таким зычным голосом, которого никак нельзя было ожидать от слабой и нервной дамы. «Вот как вы меня бережете и покоите! – кричала она, – в самый день отъезда я узнаю, что дормез⁴ сломан,

³ Страданий (*фр.*).

⁴ Дормез – дорожная карета, в которой можно лежать вытянувшись.

и мне пришлось прожить лишних два дня в Москве, а потом ехать в этом мерзком ковчеге и еще черт знает с кем». При этом ее гневный взор скользнул по наружным местам, а Приидошенский, толкнув Угарова в бок, прошептал ему: «Вот и нам с вами перепало». Наконец, бесчисленные сундучки и узлы были вынесены из кареты, и Анна Ивановна, несколько успокоившись, начала вылезать Из мерзкого ковчеге. В это время голубая компаньонка сочла нужным вмешаться в разговор, и хотя речь ее клонила как бы в пользу приказчика, но красное приказчицье лицо при первых звуках ее голоса выразило сильнейшее беспокойство:

– Осмелюсь доложить вам, Анна Ивановна, что Прокофий в дормезе не виноват, он еще осенью об этом писал. Тоже вот насчет того архитектора...

– Ах, да, я забыла об архитекторе. Как ты смел...

Снова разразилась буря, но мальпост в это время тронулся, а Приидошенский, высунувшись из своего места, произнес вполголоса: «Прощай, матушка, спасибо тебе, что ты и нас, бедных странников, внесла в свое поминаньице».

В Змееве Приидошенский вышел, обещав навестить своего спутника в течение лета. Оставшись единственным путешественником, Угаров, по предложению кондуктора, перешел в карету, всю пропитанную запахом одеколона и разных лекарств, отворил окна и заснул богатырским сном.

Когда он проснулся, солнце уже зашло. Вместо лекарственного воспоминания о генеральше Кублицевой, в окна кареты врвался свежий вечерний ветерок, внося с собою сильный запах смолы. Карета ехала между двумя стенами густого леса. Угаров знал, что, только что этот лес кончится, до Медлянска останется не более двух верст. Теперь никаких любовных мечтаний у него не было – все мысли были заняты предстоящим свиданием с нежно любимой им матерью. Подъезжая к станции, он высунулся из окна, надеясь, как всегда, увидеть ее на крылечке. Но ее не было, только старый его слуга, Андрей, с письмом в руке торопливо подходил к мальпосту.

– Что матушка? здорова? – закричал Угаров, выскакивая из кареты.

– Не так-то здоровы, батюшка Владимир Николаевич, с приездом имею честь поздравить, – говорил Андрей, подавая ему письмо и целуя и а лету его руку.

Письмо было от тетки Угарова – Варвары Петровны, жившей с его матерью. Она писала:

«Милый Володя, прежде всего не пугайся. Мари не совсем здорова, и я уговорила ее не ехать на станцию. Пожалуйста, если найдешь в ней какую-нибудь перемену, не говори этого при ней. Твоя Варя».

Тарантас, запряженный тройкой, стоял у подъезда. Угаров быстро перенес в него, с помощью Андрея, свой чемодан и, усевшись в тарантасе, велел ехать как можно скорее. Лошади помчались. Страшная тоска сжимала ему сердце. В первый раз случилось, что мать не выехала к нему навстречу; он знал, что только серьезная болезнь могла остановить ее. Больше же всего пугали его слова записки: «не пугайся». «Верно, меня готовят к большому несчастью, – думал он. – Что, если ее уже нет в живых?» Воображение его разыгрывалось, и, проехав верст шесть, он уже представлял себе, как найдет ее в зале на столе. Несколько раз пытался он допрашивать Андрея, но от этого выжившего из ума, хотя преданного человека не мог добиться никакого толка: «больны-то больны, только не совсем», – твердил он. Подъехав к «капитанскому» мосту, тарантас остановился.

– Извольте выходить, Владимир Николаевич! Я Марье Петровне перед образом побожился, что не повезу вас в тарантасе через мост.

Угаров нехотя повиновался. Мост этот назывался «капитанским», потому что лет сорок тому назад на нем провалился и утонул какой-то капитан; с тех пор его много раз строили вновь, но никак не могли построить порядочно: он дрожал даже под ногами пешехода. Божба перед образом, о которой рассказал Андрей, несколько успокоила Угарова. «Значит, матушка

жива», – подумал он. От капитанского моста оставалось пять верст. Вот миновали они бесконечно тянувшееся казенное село Городище, казавшееся очень красивым при лунном освещении; вот и дубовая роща, после которой начинались владения Угарова. Теперь каждый куст, каждая извилина дороги были ему знакомы, но на всем лежал, как ему казалось, зловеющий отпечаток. Большие деревья сада бросали на светлую дорогу какие-то исполинские, причудливые тени; окна большого дома как-то вопросительно взглянули на него с крутой горы. Едва отвечая на приветы встречавшей его дворни, Угаров быстрыми шагами вбежал в залу, в которую из противоположных дверей входила высокая женщина в белом ночном капоте. Угаров едва не вскрикнул – до того осунулись и изменились черты его матери.

– Ну, что, Володя? Очень я переменялась? – говорила она, судорожно сжимая его в объятиях.

– Нет, мама, ничего, очень мало! – лепетал он, едва удерживая рыдания.

– Ну, а теперь, Мари, спать! – властным голосом заговорила тетя Варя, на руку которой опиралась больная. – Петр Богданыч позволил тебе встретить Володю с условием, чтобы ты сейчас же шла спать; завтра вдоволь наговоритесь.

– Да, да, я пойду, а ты, дружок мой, скушай что-нибудь, ты, верно, проголодался в дороге.

В столовой был приготовлен целый ужин, но Угаров не мог есть. Уложив больную, тетя Варя пришла к нему и рассказала ему подробно о болезни Марьи Петровны. Она заболела довольно серьезно с месяц тому назад, но запретила писать об этом Володе, «чтобы не мешать его экзаменам». Потом она начала выздоравливать, но в последние дни ей опять сделалось хуже. По ночам она не могла спать и не переставала говорить о том, что с Володиёй во время дороги должно случиться какое-нибудь несчастье; особенно беспокоилась она в этот последний день. После получасового разговора тетя Варя вышла и, вернувшись с известием, что больная спит совсем хорошо, убедила Володю съесть цыпленка и выпить чаю. Долго еще беседовала она с племянником, потом проводила его в «детскую», заново отделанную к его приезду. Оставшись один, Угаров бросился на колени и начал горячо молиться. Очень набожный в детстве, он теперь считал себя неверующим и давно уже не молился: он и теперь не знал, кого и о чем он молит, но какое-то неизъяснимо-отрадное чувство проникло в его душу после молитвы. Угаров сам удивился этому чувству, которого он бы не мог испытать в Петербурге, которое было возможно и уместно только здесь, в этом старом доме, в этой комнате, где он так много и горячо молился ребенком, где из каждого угла на него смотрело его чистое, невозвратно минувшее детство...

III

Марья Петровна Угарова была очень счастливая и в то же время очень несчастная женщина. Обстоятельства ее жизни складывались довольно удачно. Дочь небогатого, хотя и заслуженного генерала Дорожинского, она одна из сестер попала в Смольный монастырь, где окончила курс с шифром⁵. Не будучи красивой, она имела необычайный дар всем нравиться и уже не первой молодости сделала, как говорится, «блестящую» партию. Муж ее, Николай Владимирович Угаров, был очень добрый и очень богатый человек, любивший ее без памяти. Несчастье же ее заключалось в том, что она жила не действительной, а какой-то эфемерной, мечтательной жизнью. Дни ее катились светло и ровно, но она всегда умела выдумать какое-нибудь горе и терзаться им. Так, например, она была уверена в безграничной любви мужа, а между тем измучила вконец и его и себя нелепой ревностью. Однажды она чуть не сошла с ума от горя, найдя случайно в бумагах мужа какое-то любовное письмо, полученное им за десять лет до женитьбы. Люди, ее знавшие, думали, что смерть Николая Владимировича убьет ее наверное, но, к их удивлению, Марья Петровна перенесла этот удар сравнительно спокойно. Те, которые живут постоянно в воображаемом горе, легче переносят настоящее. Марья Петровна столько раз представляла себе болезнь и смерть мужа в то время, как он был совсем здоров, что грозная действительность не удивила ее, а только еще более убедила в несомненности ее предчувствий. Угаров еще при жизни перевел на имя жены все свое огромное состояние, а потому после его смерти Марья Петровна очутилась в очень затруднительном положении, ничего не понимая ни в хозяйстве, ни в ведении дел; но тут провидение послало ей неожиданную помощь в лице сестры ее, Варвары Петровны. Очень схожие между собою лицом, сестры представляли, по своим внутренним свойствам, совершенную противоположность. Насколько одна парила в небе, настолько другая твердо жалась к земле. Привыкнув с детства управлять домом и небольшим имением отца, Варвара Петровна осталась старой девой и по смерти Угарова переехала жить к сестре. Мало-помалу она забирала в руки бразды правления и через год неограниченно властвовала над сестрой и всем ее имуществом. Она сама объезжала многочисленные угаровские поместья, рассеянные по разным губерниям, входила во все мелочи, сменяла приказчиков, быстро понявших, с кем они имеют дело, и в несколько лет настолько увеличила доходы сестры, что могла без угрызений совести принять от нее в подарок небольшую деревушку Жохово, которую та купила ей в семи верстах от Угаровки. Варвара Петровна переименовала Жохово – в Марьин-Дар и деятельно занималась постройкой в нем дома и разведением сада.

Сдав все заботы по имению сестре, Марья Петровна исключительно занялась воспитанием своего единственного семилетнего сына. Она любила его такой страстной и беспокойной любовью, что чувство это сделалось для нее новым источником непрерывного горя. Каждый его шаг казался ей рискованным, в его будущем она видела один длинный ряд опасностей всякого рода. Эта постоянная нервность невольно сообщалась мальчику, но и тут помогло благотворное, отрезвляющее влияние Варвары Петровны. По ее настояниям и после долгой борьбы Марья Петровна решила поместить сына в лицей. Поездка ее для этого в Петербург и разлука с сыном составляли самую яркую и грустную эпопею ее жизни. При ее большом состоянии ей, конечно, было легко переселиться в Петербург, но странно, что мысль покинуть свое насиженное гнездо даже ни разу не пришла ей в голову. Чуть не обезумев от горя и страха за Володю, вернулась она в свою Угаровку и посвятила себя самой широкой деревенской благотворительности. Два раза в неделю она получала письма от сына,

⁵ Особо отличившиеся выпускницы женского дворянского института при Смольном монастыре (Петербург) награждались *шифром* – знаком отличия в виде вензеля императрицы.

и вся внутренняя жизнь ее проходила в ожидании и перечитывании этих писем. В течение шести лет она привыкла к разлуке с Володи́ей, но опасения за его будущее усиливались с каждым годом...

На другой день после приезда Угаров был разбужен громким голосом уездного доктора, старого друга их дома.

– Ну, молодец Володька, нечего сказать! – кричал Петр Богданыч, стаскивая с него одеяло. – Приехал на каникулы, чтобы у меня хлеб отбивать! Да ты с одного визита так помог матери, что мне и ездить к ней не нужно... Она и ночь проспала отлично, и теперь чай пьет на балконе. Этак ты у меня всю практику отобьешь!

Пока Угаров умывался и одевался, доктор рассказывал ему весь ход болезни Марьи Петровны.

– Я всегда говорил, что ничего серьезного не было. Правда, около печенки есть кое-какие беспорядки, но главное дело в нервах и воображении. Старайся только, чтобы она чем-нибудь не расстроилась – другого лечения не нужно.

Марья Петровна сидела на балконе, в большом кресле, обложенном подушками. Лицо ее было бледно, но выражало счастливое настроение людей, чувствующих, что они выздоравливают. Доктор представил Володю, как своего ассистента, которому он сдает больную, и, объявив, что у него есть более серьезные больные, уехал. Среди рассказа об экзаменах и путешествии Володя вспомнил о встрече в Буяльске, а при этом воспоминании вдруг что-то жгучее кольнуло его в сердце. Он передал матери поклон княгини Брянской и спросил, что это за женщина.

– Ну, что, бог с ней! – сказала Марья Петровна.

Володя знал, что в устах его матери эта фраза была самым сильным осуждением, и потому промолчал о своем намерении ехать в Троицкое. Зато он очень распространился об Эмилии, о которой его мать уже знала по его письмам. Он даже показал «Souffrance». При виде этого вышитого шелками страдания, Варвара Петровна разразилась гомерическим хохотом, а Марья Петровна, невольно улыбаясь, заметила:

– Ты всегда, Варя, смеешься над чувствами, а эта бедная девушка, может быть, в самом деле страдает.

Марья Петровна была всегда поверенным сердечных тайн своего сына и до некоторой степени им сочувствовала. Конечно, какое-нибудь серьезное увлечение преисполнило бы ее сердце ревностью, а когда ей приходила мысль о его женитьбе, это казалось ей хотя отдаленным, но чудовищным горем. Афанасий Иванович Дорожинский был ее двоюродным братом, а потому любовь Володи к его дочери, Наташе, не беспокоила Марью Петровну: брак между родственниками она признавала совершенной невозможностью.

Тихо и радостно катились дни для Угарова.

Вставал он поздно, Марья Петровна все утро бывала занята больными, стекавшими к ней в огромном количестве из окрестных сел и деревень. Она не только лечила их, но снабжала иногда бельем и деньгами, что больше всего способствовало ее медицинской популярности. Варвара Петровна ежедневно ездила в свой Марьин-Дар и возвращалась к обеду. Вечер все проводили вместе на балконе, откуда открывался широкий вид на окрестные леса и усадьбы; а если было сыро на воздухе, они усаживались в уютной диванной, любимой комнате Марьи Петровны, в которой она зимой привыкла коротать у камина свои длинные одинокие вечера. Варвара Петровна читала вслух какой-нибудь роман; только когда в трогательных местах она замечала, что в голосе ее прорывается слезливая нотка, она передавала книгу Володе, жалуясь на усталость. Более всего на свете она боялась, чтобы ее не заподозрили в чувствительности. А когда все в доме укладывались спать, Володя приказывал оседлать своего Фортунчика и уезжал на несколько часов далеко-далеко в поле. Эти часы он всецело посвящал Соне. Иногда она представлялась ему в привлекательных, но неясных

чертах; но бывали минуты, когда он сознавал себя бесповоротно под властью этого нового, сильного чувства. Он был убежден, что все решится 11 июля, но – как устроить эту поездку? Сначала, во время болезни матери, он не решался говорить о предстоящем ему путешествии, чтобы не расстроить ее; но вот Марья Петровна совсем выздоровела, а Володя все не мог решиться. Случай помог ему.

Несколько раз Марья Петровна, гуляя по саду с сыном, начинала говорить: «А у меня к тебе, Володя, большая, большая просьба...», потом останавливалась и прибавляла: «нет, об этом как-нибудь после поговорим». Однажды, – это было уже в начале июля, – они сидели на балконе, в ожидании обеда. Тетя Варя, только что вернувшаяся из Марьиного-Дара, взглянув на сестру, сказала:

– А у тебя, Мари, глаза нехороши, ты опять дурно спала. Да скажи же ему наконец, что тебя беспокоит. Что за охота мучиться и молчать?

Володя воспользовался этим случаем и сказал, что у него также большая просьба к матери.

Тогда Марья Петровна решилась высказать опасение, мучившее ее несколько месяцев и, вероятно, бывшее одной из причин ее болезни.

Большая грозная туча войны со всех сторон надвигалась на Россию; весной был объявлен новый рекрутский набор. В одном из писем Володя, говоря о патриотическом настроении, охватившем лицей, сказал, что все его товарищи, при первой возможности, полетят на защиту отечества. Из этих строк Марья Петровна заключила, что сын ее решил выйти в военную службу. Целый месяц она тщетно ждала, что Володя заговорит об этом, и, наконец, решилась сама просить его, чтобы он не губил ее старости, идя на верную смерть.

Володя сознался, что действительно у него было это намерение, что его уговаривали некоторые товарищи, особенно братья Константиновы – славные ребята, любимые всем классом, но что, во всяком случае, он не сделал бы такого важного шага без позволения матери. Кончилось тем, что он дал торжественное обещание выйти из лицея в гражданскую службу. Марья Петровна горячо обняла сына, говоря, что он целую гору свалил с ее души, и просила его поскорей сказать, в чем заключается его просьба, которая, конечно, будет исполнена.

– Видишь, мама, – начал Володя, чувствуя, что краснеет, а оттого еще более смущаясь, – мой товарищ и друг Брянский несколько лет уже приглашает меня приехать к нему в деревню, а теперь и княгиня пригласила меня на одиннадцатое июля. Я знаю, что ты меня не будешь удерживать, но, понимаешь, я поеду только тогда, когда ты мне скажешь, что решительно ничего, ничего против этого не имеешь...

При этих неожиданных словах что-то тревожное зашевелилось в сердце у Марьи Петровны, но она превозмогла это ощущение и спокойно отвечала:

– Конечно, поезжай, мой дружок; я даже рада, что ты рассеешься... Только вернись ко дню твоего ангела.

– Еще бы, мама, я вернусь двенадцатого, самое позднее – тринадцатого утром...

– Ну и отлично, что объяснилось! – воскликнула Варвара Петровна. – Теперь пойдемте обедать.

Но в это время раздался стук подъезжавшего экипажа, и на балкон, семена ножками, вбежала Наташа Дорожнинская. Высокая, рыжая англичанка шла, едва поспевая за ней.

– Bonjour, ma tante!⁶ – лепетала Наташа, целуя руку у Марьи Петровны. – Хотя папá еще не вернулся из Петербурга, но мне так хотелось узнать о вашем здоровье, что я уговорила мисс Рэг приехать к вам сегодня. Вы нам позволите остаться?

⁶ Здравствуйте, тетушка! (*фр.*).

– Какой смешной вопрос, Наташа, ведь мы не чужие! – обиженным голосом отвечала Марья Петровна, очень строгая в вопросе родственных отношений.

– Bonjour, ma tante! – продолжала Наташа, обращаясь к Варваре Петровне несколько холоднее, потому что знала, что та ее недолюбливает. – Bonjour, mon cousin!⁷ – сказала она уже совсем холодно Володе и протянула ему один палец.

Холодность к Володе была наказанием за то, что он в целый месяц не собрался приехать к Дорожинским.

Наташа была небольшого роста, довольно полная блондинка и с первого взгляда могла показаться хорошенькой, но, проведя с ней целые сутки, вы на другой день могли не узнать ее: до того все черты лица ее были неопределенны и бесцветны. Маленькие глазки, которые она то щурила, то вскидывала вверх, уже начали заплывать легким жиром. Ее речь, походка, выражение лица, – все состояло из каких-то недомолвок и намеков.

Обед прошел вяло. Мисс Рэг, видимо, на что-то негодовала, и хотя она умела с грехом пополам говорить по-французски, но на все обращенные к ней вопросы отвечала какими-то односложными междометиями. Наташа продолжала убивать Володю холодностью, беспрестанно вскидывала на него своими маленькими глазками, а встретив его взор, немедленно отворачивалась. Тем не менее тотчас после обеда она предложила ему пойти вместе к пруду, чтобы посмотреть, как принялись молодые липки. На полдороге, у большого клена, она остановилась и, сев на скамью, сочла своевременным начать объяснение.

– Вот и правду говорят, mon cousin, что времена переменчивы. Прежде, бывало, вы на другой день приезда были у нас, а теперь...

Угаров стоял перед ней и в душе совершенно соглашался с ее мнением о переменчивости времени. Сколько раз на этой самой скамейке он клялся ей в вечной любви, а теперь он смотрел на нее и никак не мог понять, что ему могло в ней нравиться. Он, конечно, начал оправдываться болезнью матери.

– Это правда, но теперь ma tante здорова, приезжайте к нам в день именин моей крестницы Ольги, к этому дню и папа вернется...

– Я бы с удовольствием приехал, но как раз в этот день я обещал быть на именинах у одного товарища по лицу...

– Вот как! Я и не знала, что у нас по соседству завелись лицеисты, да еще такие, которые бывают именинниками в Ольгин день. Кто же этот товарищ?

– Товарищ этот – Брянский, то есть не он именинник, а его мать – княгиня Брянская.

– Вы как-то путаетесь в ответах; но все это вы мне объясните дорогой. Ведь мы поедем верхом в дубовую рощу? Я привезла амазонку. Велите оседлать лошадей.

Угаров с грустью пошел делать распоряжение о лошадях, но мисс Рэг выручила его, решительно запретив прогулку верхом. Наташа пробовала взять ее кротостью, потом начала возвышать голос, но англичанка вдруг разразилась таким потоком шипящих и свистящих слов, что амазонка притихла и смирилась. После этого прошло еще несколько томительных часов. Мисс Рэг окончательно вознегодовала, не произносила никаких междометий и с упорным презрением смотрела на клумбу георгинов и душистого горошка. Наташа без умолку рассказывала о том, как ее отец богатеет ежегодно и какие он изобретает улучшения по хозяйству. Тетя Варя изредка ее останавливала и слегка язвила. Марья Петровна и Володя почти не принимали участия в разговоре, но они так были счастливы своими утренними разговорами, что даже и не испытывали скуки. А все-таки, когда они, проводив Наташу до экипажа, уселись в диванной, вздох облегчения вырвался у них одновременно.

⁷ Здравствуйте, кузен! (фр.).

– Ах, как хорошо без гостей! – воскликнула Варвара Петровна и, придвинув к себе лампу, вынула из своего объемистого кармана небольшой томик «Давида Копперфильда»⁸ во французском переводе.

⁸ Роман (1850) Ч. Диккенса.

IV

Десятого июля в десятом часу вечера Угаров подъезжал к ярко освещенному дому села Троицкого. Молодой, проворный казачок, встретивший его у подъезда, повел его в отдельный флигель, где помещался Сережа. Угаров тщательно вымылся, причесался, надел мундир и чистые перчатки и с замиранием сердца отправился в большой дом. Он попросил доложить о нем княгине или вызвать Сережу, но казачок объяснил ему, что все молодые господа уехали кататься, а княгине докладывать нечего. «Пожалуйте!» – Угаров вошел в огромную залу, в два света с хорами. Голоса слышались справа из гостиной и слева с большого балкона, выходящего в сад. Угаров пошел направо. Княгиня сидела спиной к двери и играла в карты с двумя старичками. На другом конце большой гостиной у раскрытого окна сидел флигель-адъютант Кублищев и также играл с каким-то гусаром. Угаров несколько раз расшаркивался перед княгиней, но та была так погружена в игру, что даже не замечала его. Угаров хотел уже удалиться, но гусар – красивый блондин, с изящно расчесанными бакенбардами, заметив эту сцену, пришел ему на помощь.

– Вы, вероятно, к Сереже, – сказал он, любезно протягивая ему руку, – его дома нет. Позвольте мне представить вас хозяйке дома.

И, спросив его фамилию, гусар подвел его к княгине.

– *Maman, monsieur* Угаров...

Княгиня устремила на него усталый взор.

– Ах, боже мой, да мы знакомы! Очень мило, что вы к нам приехали... Вот, если бы вы пошли в черви, – немедленно обратилась она к одному из старичков, – то Иван Ефимыч был бы без двух.

– Ну, княгине теперь не до нас, – сказал гусар с улыбкой, – Сережа сейчас вернется, а пока позвольте познакомить вас с его старшей сестрой. Я ее муж – Маковецкий.

Балкон, на который они вошли, был весь заставлен цветами и разнокалиберной мебелью. Посередине длинного стола, покрытого всякими яствами, стояла большая карсельская лампа⁹ с белым матовым колпаком. Яркий свет падал от этой лампы на усыпанную песком дорожку сада и захватывал часть газона, расстилавшегося зеленым ковром перед балконом. Из-за чайного стола поднялась молодая, стройная женщина.

Ольга Борисовна Маковецкая была на шесть лет старше Сережи. По некоторым, едва уловимым очертаниям губ и по складу лица она напоминала мать и сестру, но она была блондинка, да и по общему впечатлению, производимому всей ее изящной фигурой, принадлежала к другому типу. Ни в одном ее движении не было и тени кокетства; голубые глаза смотрели прямо и ласково.

– Сережа очень будет рад вас видеть, – сказала она, приветливо протягивая руку Угарову, – он вас ждал. Саша, – обратилась она к мужу, – когда же вы кончите с *Simon* ваш несносный пикет? У нас гораздо веселее.

– Мы сейчас придем, – ответил Маковецкий и исчез за дверью.

Общество, которое Угаров застал на балконе, состояло из четырех лиц. Возле Ольги Борисовны сидел небольшого роста довольно полный господин, которого она назвала Иваном Петровичем Самсоновым, – с мягкими, почти рыхлыми чертами лица, с добродушной улыбкой и подслеповатыми глазками. Впрочем, ни на него, ни на его жену, пожилую даму с лицом, покрытым веснушками, Угаров не обратил особенного внимания, потому что оно было всецело поглощено человеком очень большого роста с умным, энергическим лицом. Он задумчиво смотрел в сад. Огромная голова его оканчивалась целой гривой черных с про-

⁹ *Карсельская лампа* – разновидность масляной лампы, усовершенствованной регулирующим механизмом Карселя.

седью волос, не особенно тщательно причесанных, длинная борода была почти седая. Звали его Николаем Николаевичем Камневым; одет он был в плисовые шаровары и армяк из тонкого синего сукна.

– Присутствие молодого лицеиста не будет здесь лишним, – заговорил он громким, звучным басом, когда все опять уселись, – так как я только что хотел прочитать вам стихотворение, принадлежащее перу одного лицеиста.

И, эффектно откинувшись на спинку кресла, он, понизив голос, начал:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье...¹⁰

Когда он кончил, Угаров робко спросил, какой лицеист был автором этих стихов. Камнев задумчиво облокотился на стол и отвечал глухим голосом:

– Лицеист этот плохо учился, плохо служил, плохо женился и даже, как утверждали под конец его жизни иные критики, плохо писал... Лицеист этот был Пушкин.

При последних словах Камнев победоносно и строго вскинул глазами на Угарова.

Угаров, знавший наизусть Пушкина, сознался, что это стихотворение он слышал в первый раз.

– Мало ли чего еще вы не знаете и не можете знать! – воскликнул Камнев и прочитал несколько стихотворений Пушкина, бывших тогда под строгим запретом цензуры¹¹.

– Иван Петрович, теперь ваша очередь, – сказала Ольга Борисовна, – вы нам давно ничего не читали.

Самсонов заволновался и закачался на своем стуле.

– Право, не знаю, что бы вам такое прочитать; вот разве...

Но Камнев, любивший больше говорить, чем слушать, поспешил прервать его:

– Не знаю, рассказывал ли я вам, Иван Петрович, о моей последней встрече с Пушкиным у Чаадаева...

В это время в зале послышался целый хор молодых голосов и Соня первая, запыхавшись, с соломенной шляпой в руке вбежала на балкон.

– Выиграла, выиграла пари! – закричала она, увидев Угарова. – Представьте себе, мы подъезжаем к дому и видим возле конюшни неизвестный экипаж; я прямо говорю: вы! Горич говорит: не вы! Яков Иванович, я с вас выиграла пари.

– Что делать, княжна, я теперь в вашем распоряжении; можете приказать мне, что хотите, – говорил Горич, входя на балкон с одной из дочерей Самсонова.

– И прикажу, будьте спокойны.

Вслед за ними вошли еще две барышни Самсоновых, хорошенькая Варя Спицына, дочь одного из старичков, игравших в карты, Сережа и два молодых артиллериста из батареи, стоявшей в Буяльске. Шествие замыкалось Христиной Осиповной, старой гувернанткой, с незапамятных времен жившей в доме Брянских.

Ольга Борисовна спросила, не хочет ли кто чаю, но Соня ответила за всех, что и без того жарко, и предложила молодежи идти на гигантские шаги¹², устроенные на небольшой поляне, среди больших столетних дубов. Она называла это место своим царством. Там она тайно читала недозволенные книги, совещалась с Сережей, мечтала и иногда плакала.

¹⁰ Начало стихотворения (1821) Пушкина, посланного им через А. Г. Муравьеву декабристам в Сибирь.

¹¹ Произведения Пушкина: ода «Вольность» (1817), «К Чаадаеву» (1818), «Деревня» (1819), поэма «Гавриилиада» (1821) и многое другое долгое время распространялось только в списках.

¹² Гигантские шаги – приспособление для гимнастической игры, состоящее из столба с вертушкой наверху, к которой прикреплены веревки с лямками.

Угаров шел под руку с Соней и решительно не знал, о чем говорить с ней. Целый месяц он жил мечтой об этом свидании, и вот свидание состоялось, но как-то совсем не так, как он себе представлял его. Соня болтала без умолку, но тоже не находя предмета разговора, и несколько раз благодарила его за то, что он приехал.

Угаров отказался занять лямку, потому что от гигантских шагов у него кружилась голова, но не мог оторвать глаз от Сони и воображал себя действительно в каком-то царстве, никогда не виданном и волшебном. Огромные дубы, как сказочные великаны, неподвижно стояли кругом, луна ударяла прямо в белый столб и придавала летающим людям какой-то совсем, фантастический оттенок. Вдоволь налетавшись, все уселись на скамье и начали петь хоровую песню, но Соня вдруг остановила пение и объявила Горичу, что он сейчас должен будет выполнить пари. Она отозвала его в сторону и что-то приказывала ему; он отнекивался; наконец призвали судьей Сережу, и торжествующая Сопя скомандовала возвращаться домой, говоря, что всем будет большой сюрприз. Когда молодая ватага подошла к балкону, на нем по-прежнему раздавался густой бас Камнева:

– Вот что сказал мне великий Гумбольдт¹³, когда он посетил меня в Москве...

Но на этот раз слушатели не узнали того, что сказал Гумбольдт, потому что произошло нечто неожиданное. Горич подошел к Самсонову, стал перед ним на колени и с комической торжественностью произнес:

– Вы слышали, Иван Петрович, что я проиграл княжне пари *a discretion*¹⁴. Поэтому она приказала мне стать перед вами на колени и просить вас от имени всего общества прочитать нам «Скупого рыцаря».

Самсонов совсем заволновался и зашатался на стуле.

– Помилуйте, как же это «Скупого рыцаря»? Я сто лет его не читал, я, верно, забыл...

– Это как вам будет угодно, – продолжал спокойно Горич, – но только я должен стоять на коленях до тех пор, пока вы не пообещаете...

– Ну, что же, если это общее желание, я попробую... Соня в два прыжка очутилась в гостиной.

– Мама, Александр Викентьевич, Семен Семеныч, идите все на террасу: Иван Петрович будет читать «Скупого рыцаря».

Все повиновались. Княгиня по рассеянности вышла даже с картами в руках. Задвигались стулья, все обступили Ивана Петровича. Соня сбежала в сад и, став на скамью, прислоненную к балкону, впиалась глазами в Самсонова. Угаров смотрел на этого робкого, пухлого отца трех некрасивых дочерей и не понимал причины общего оживления.

Между тем это оживление видимо доставляло Ивану Петровичу большое удовольствие, потому что он радостно улыбался. Потом он облокотился на стол и на минуту закрыл лицо руками, как бы собираясь с силами и входя в роль. Когда он поднял голову, Угаров не узнал его. Добродушная улыбка исчезла, все лицо исказилось каким-то страстно-хищническим выражением:

Как молодой повеса ждет свиданья... —

начал он разбитым старческим голосом, но, по мере чтения, этот голос все рос и возвышался и бесповоротно овладел слушателями, то доходя до какой-то дикой силы, то превращаясь в слабый, отчаянный шепот... Скоро Угаров совсем перестал видеть Ивана Петровича. Он видел только мрачный подвал, раскрытые сундуки с грудями золота и страшного

¹³ Гумбольдт Александр (1769–1859) – немецкий ученый, естествоиспытатель и путешественник, в 1829 г. посетил Россию.

¹⁴ Пари, условия которого устанавливает выигравший (*фр.*).

старика, который тем страшнее, чем тише говорит. Когда этот старик, с воплем отчаяния в голосе, заговорил про совесть:

...совесть,
Когтистый зверь, скребящий сердце... —

невольный стон вырвался у кого-то из слушателей, но никто на это не обратил внимания. Когда монолог кончился, в течение секунды длилось мертвое молчание, уступившее место шумным восторгам. Камнев с чувством потрясал руку Ивана Петровича, повторяя:

— Превосходно, действительно превосходно, вы давно так не читали.

От этих восторгов первая опомнилась княгиня и предложила своим старичкам пойти кончить пульку. Маковецкий и Кублицев объявили, что после этого чтения они в пикет играть не могут, и остались. Начался настоящий турнир. Камнев и Самсонов поочередно читали и старались превзойти друг друга. Чувствуя себя побежденным, Камнев перешел в область французской поэзии, более удобной для его декламации, и воспроизводил целые сцены из драм Виктора Гюго¹⁵, Самсонов не остался в долгу и с большим блеском прочел монолог из «Сида»¹⁶. Общее настроение достигло, наконец, такой высоты, что все почувствовали потребность спуститься на землю. По просьбе Ольги Борисовны, Кублицев прочел несколько отрывков из путешествий госпожи Курдюковой¹⁷. После стольких серьезных впечатлений это чтение, как контраст, имело большой успех. Только Камнев, нагнувшись к Ивану Петровичу, сказал ему вполголоса:

— Никогда не понимал я этого юмора; это не юмор, а буффонство...

Время летело так незаметно, что все были очень удивлены, когда в дверях появился степенный дворецкий и сонным голосом проговорил:

— Кушать пожалуйста.

Во время ужина раздался колокольчик, и в столовую ввалился Придошенский, встреченный общим дружным смехом. Но Придошенский был серьезен; он привез важное известие. Князь Холмский, змеевский губернатор, должен был производить ревизию в Буяльске в середине августа; но утром 10 июля он получил какую-то эстафету из Петербурга, после чего призвал правителя канцелярии и велел ему немедленно готовиться в путь. Завтра он приедет к обеду в Троицкое, а с 12-го начнется ревизия.

Княгиня притворилась равнодушной к этому известию, однако сейчас же велела позвать в переднюю повара Антона и долго совещалась с ним о завтрашнем обеде. Камнев заявил, что известие, привезенное Придошенским, вероятно, помешает ему приехать, так как в прошлом году проконсул¹⁸ сделал ему выговор через предводителя за то, что встретил его однажды в русском платье. Впрочем, после всеобщих протестов он обещал порыться в сундуках — и приехать, если найдет какую-нибудь «старую, глупую европейскую хламиду». После ужина княгиня пошла оканчивать свою пульку, которую все еще не успела доиграть. Из гостей уехал один Камнев, живший в пяти верстах от Троицкого; остальные гости были свободно размещены по разным комнатам громадного княжеского дома. Когда Угаров и Горич пришли в свой флигель, они, к удивлению, увидели Сережу, только что вертевшегося

¹⁵ Драмы Гюго, насыщенные пафосом высоких страстей, направленные против самовластья, в России долго были под цензурным запретом.

¹⁶ Трагедия (1637) П. Корнеля (1606–1684), французского драматурга, основоположника трагедии в стиле классицизма.

¹⁷ Имеется в виду юмористический роман в стихах И. П. Мятлева «Сенсации и замечания г-жи Курдюковой за границей, дан л'этранже» (1841) — образец «макаронического» стиля, основанного на смешении разноязычных слов.

¹⁸ В Древнем Риме *проконсул* — наместник, имевший в провинции неограниченную власть. Здесь, по-видимому, намек на более высокое служебное положение губернатора в прошлом, т. к. в Риме проконсулами назначались лица по истечении срока их высоких полномочий.

в зале, уже лежащим в постели и укутанным с головой в белое одеяло. Едва они улеглись и потушили огонь, в комнату вбежал казачок Филька с письмом и карандашом в руке. Рас-толкав барина, он зажег свечу и сказал:

– Сергей Борисович, княжна ждет ответа.

Сережа лениво поднялся, прочитал записку, потом тщательно сжег ее на свече и начал писать ответ.

– Ну, опять началась «почта духов»¹⁹, – сердито проворчал Горич, – точно мало вам целый день шептаться.

И, повернувшись лицом к стене, он захрапел.

А Угаров, несмотря на усталость, долго не мог заснуть. Стихи, дорога, луна, летающие люди, Соня, «Скупой рыцарь» – все разнообразные впечатления дня путались в его голове и заставляли сердце его биться какой-то сладкой тревогой.

¹⁹ «Почта духов» – так назывался издававшийся И. А. Крыловым журнал (1879), построенный в виде переписки волшебника с сумасшедшим философом и духами.

V

В Троицком жилось беспорядочно и весело. Не было ни определенных занятий, ни определенных часов для каких бы то ни было занятий. Единственная аккуратная женщина в доме – Христина Осиповна – ежедневно в 9 часов утра являлась в столовую и до самого завтрака рассылала чай и кофе по разным комнатам и флигелям. Завтракали – кто где хотел. Когда у знаменитого Антона, сорок лет исполнявшего в Троицком должность повара, спросили, в котором часу его господа обедают, он совершенно серьезно отвечал: «в три – в шестом»; но Антон был артист, и никакой беспорядок не мог его смутить.

На одиннадцатое июля ему был отдан такой приказ: завтрак – когда вернутся от обедни; обед – тотчас по приезде губернатора.

К обедне, в назначенный час, пришла одна Ольга Борисовна; княгиня прислала сказать священнику, что у нее разболелась голова и чтоб ее не ждали. К концу обедни пришел Кублищев и, выходя из церкви, поздравил Ольгу Борисовну.

– Я, надеюсь, первый...

– Нет, милый Семен Семеныч, – прервала она с усмешкой, – муж уже поздравил меня.

Утро было не особенно жаркое, и Ольга Борисовна предложила идти домой дальней дорогой, то есть через парк.

– Боже мой, сколько хороших и тяжелых дней напоминает мне это место! – говорил Кублищев, входя в тенистую липовую аллею, – вот, если у вас хорошая память, Ольга Борисовна, скажите мне, что было в этот день пять лет тому назад?

– Пять лет тому назад в этот день были мои именины.

– И только?

– Какой вы смешной, Семен Семеныч, неужели вы думаете, что я могу забыть хоть одну подробность этого дня? Все помню, поверьте. Помню, как вы вошли с незнакомым гусаром, как Саша покраснел, когда вы его мне представили. Помню, что вы его шутя называли молодым последователем Костюшки;²⁰ помню, что после обеда он играл полонез и два ноктюрна Шопена. Вы видите, я ничего не забыла.

– Да, хорошая у вас память, Ольга Борисовна; но, раз мы коснулись прошедшего, ответьте мне откровенно на один вопрос. Если бы вы... одним словом, если бы я не привез к вам тогда Александра Викентьевича, были бы вы теперь моею женой? Ольга Борисовна ответила не сразу.

– Видите ли, на этот вопрос ответить очень легко, если хочешь ответить что-нибудь, что попало, но я не могу говорить так с вами. Была ли бы я вашей женой? Право, не знаю. Отец сердился за то, что наша свадьба была отсрочена на несколько месяцев, что ваша матушка соглашалась на нее как-то нехотя... Да и зачем теперь раздумывать об этом? Ведь мы с вами друзья, настоящие друзья, не правда ли? Поверьте, это чувство нельзя променять ни на какое другое. В том, другом чувстве, – и голос Ольги Борисовны слегка дрогнул, когда она произнесла это слово, – всегда бывает столько недосказанного, столько лишнего и мучительного, а в дружбе все так хорошо и ясно.

Ольга Борисовна остановилась.

– Ну, а теперь, мой милый Simon, – сказала она, протягивая ему руку, – поставим точку и не будем никогда говорить о прошлом.

Кублищев потупил голову и молча поцеловал протянутую ему руку.

Проходя мимо гигантских шагов, они услышали какой-то монотонный голос и сквозь просветы между деревьями увидели на скамейке Соню с работой в руках. Горич сидел на

²⁰ *Костюшко Тадеуш* (1746–1817) – руководитель польского национально-освободительного восстания 1794 г.

песке у ее ног и читал ей вслух французский роман. Ольга Борисовна слегка нахмурила брови и задумалась.

– Боюсь я за Соню, – сказала она, подходя к дому.

– Мне кажется, вы преувеличиваете, Ольга Борисовна: княжна такой еще ребенок!

– Нет, нет, Simon, вся беда в том, что она слишком мало ребенок.

В доме в это время еще не все поднялись. Сережа только что проснулся и предложил Угарову пойти выкупаться в реке. Послали казачка Фильку за Горичем, но тот его не нашел, а взамен его привел артиллеристов, вставших, по привычке, в семь часов и не знавших, куда им деваться. После купанья Сережа потребовал завтрак во флигель, потом пошел показывать гостям парк, а также конюшни и другие постройки. Все было грандиозно и запущено. Придя после продолжительной прогулки на балкон, они застали там все общество, кроме барышень, которые ушли одеваться к обеду. Через несколько минут раздался в зале мерный и сухой деревянный стук.

– Вот и князь Борис Сергеевич идет, – сказал Кублищев.

При этих словах Угаров вспомнил, что в Троицком живет хозяин, которого он еще не видал, а Горич одним прыжком перескочил четыре ступеньки и исчез в зелени сада.

Стук медленно приближался, и, наконец, в дверях показалась высокая, сгорбленная фигура князя Брянского в сером пальто и военной фуражке. Угарова прежде всего поразили темный, почти земляной цвет лица и седые брови, повисшие над впалыми потухшими глазами. Левая, отнявшаяся рука была беспомощно уложена в карман пальто, одной ногой князь также владел плохо, но, видимо, желал это скрыть, а потому шел очень тихо, опираясь на большой черный костыль. В это утро он был не в духе, довольно холодно поздоровался со всеми и очень сухо поздравил княгиню с днем ангела. Усевшись в большом кресле и увидав незнакомого лицеиста, он спросил вполголоса у Сережи:

– Это еще кто?

Сережа подозвал Угарова и представил его отцу.

– Говори громче, не слышу.

Сережа повторил. Князь уставил на Угарова тусклый и пристальный взгляд.

– Не родственник ли вы покойному Николаю Владимировичу Угарову?

– Как же, князь, я его сын.

– Прекрасный, достойный был человек ваш батюшка, и с вами я очень рад познакомиться.

Князь ласково протянул руку Угарову, лицо его как-то посветлело. Он начал рассказывать о своей молодости, которую провел с отцом Угарова, шутил с гостями и даже – что было признаком совсем хорошего расположения духа – передавал свои разговоры с маленьким Борей, трехлетним сыном Ольги Борисовны, которого он любил без памяти. После получасового разговора он объявил, что ему пора домой, «а то, пожалуй, адораторы²¹ и поздравители княгини Ольги Михайловны начнут съезжаться». Он хотел встать молодцом и слабо оперся на костыль, который вследствие этого скользнул по полу. Князь едва не упал, все лицо его исказилось молчаливым страданием. Ольга Борисовна быстрым движением поддержала отца и, совершенно спокойно сказав ему: «мы с тобой вместе зайдем разбудить Борю», незаметно поправила ему костыль.

Когда их шаги затихли, княгиня начала благодарить Угарова.

– Только благодаря вам сеанс сегодня прошел благополучно. Вы не поверите, как мой бедный муж сделался раздражителен. Например, он так невзлюбил Горича, не знаю за что, что тот должен прятаться при его появлении.

²¹ Поклонники (от фр. *adorer* – обожать, поклоняться).

Поздравители действительно начали скоро съезжаться. Соседи приезжали – молодые и старые, с детьми и без оных. Из Буяльска явился барон Кнопф, высокий, рыжий командир батареи, с миловидной женой и молодым адъютантом, тоже бароном. Одним из последних приехал Камнев. Ему не удалось отыскать в своих сундуках старой хламиды, но зато он нашел очень изящный фрак, причесался, подстриг бороду, даже повесил на жилетку золотой лорнет, – одним словом, явился тем элегантным Камневым, который был украшением всех «умных» московских салонов тридцатых годов²². В пятом часу вбежал взволнованный исправник и объявил, что через несколько минут прибудет губернатор. Княгиня, бывшая в зале, при этом известии ушла в гостиную для сохранения своего достоинства. Наконец, высокая губернаторская коляска остановилась у подъезда и из нее бодро вышел очень толстый генерал с одутловатыми щеками и крашеными щетинистыми усами. Сережа встретил его на крыльце и повел в гостиную.

– *Quelle charmante surprise, cher prince!*²³ – сказала княгиня, поднимаясь с дивана.

Губернатор поцеловал руку княгини и объявил, что привез ей в виде подарка очень приятную новость, но скажет ее за обедом, выпив ее здоровье. Князь Холмский был змеевским губернатором уже более десяти лет, а потому знал почти все общество. Увидев Камневу, он покосился на его бороду, но, успокоенный видом фрака, подал этому беспокойному человеку два пальца. Угарова и Горича, тотчас же ему представленных, он удостоил легким кивком. Вскоре после его приезда дворецкий своим обычным тоном возвестил: «кушать пожалуйте», – и княгиня, подав руку губернатору, отправилась с ним в первой паре в большую залу, где был накрыт стол на пятьдесят человек.

Обед начался очень чопорно и скучно. Князь Холмский много ел и пил, а потому говорил мало; другие несколько стеснялись его присутствием и разговаривали сдержанно. Самый обед удался на славу и в кулинарном и в архитектурном отношении; Антон превзошел себя по части орнаментов. Ростбиф был подан под каким-то величественным балдахинном из теста, овощи были сервированы в виде звезд и разных зверьков, даже из моркови было наделано несколько человеческих фигурок. Когда разлили шампанское, губернатор предложил тост за здоровье дорогих именинниц, после чего торжественным голосом произнес:

– Ну, а теперь, милая княгиня, самое время поднести вам мой подарок.

При этом он вынул из кармана письмо, полученное им накануне эстафетой из Петербурга и, еще возвысив голос, прочитал, что граф Василий Васильевич Хотынцев назначен министром.

Известие это произвело потрясающий эффект. Граф Хотынцев был женат на Олимпиаде Михайловне, родной сестре княгини Брянской. Он давно уже был кандидатом на этот высокий пост, но считался либералом, и его всякий раз «обходили». Все гости вскочили с мест и подходили с бокалами в руках поздравлять княгиню. Вне себя от радости, она закричала, указывая на лицеистов:

– Вот кого надо поздравлять! Теперь их карьера обеспечена, они все трое поступят к Базилю.

Когда все вернулись по местам, поднялся Камнев, которого княгиня заранее упросила сказать маленький спич в честь губернатора. Спич этот был бы очень хорош, если бы оратора не погубила страсть к историческим справкам, вследствие чего он счел уместным вспомнить, что когда-то, в тяжелую эпоху Руси, она была разделена на опричнину и земщину²⁴.

²² Очевидно, речь идет об известных в Москве салонах в доме З. А. Волконской, Е. П. Елагиной, где постоянно собирались музыканты, литераторы – передовые и знаменитые люди своего времени.

²³ Какой очаровательный сюрприз, дорогой князь! (*фр.*).

²⁴ В целях укрепления самодержавия и для разгрома княжеско-боярской оппозиции царь Иван Грозный разделил земли России на опричнину и земщину. Опричные земли, с которых были выселены удельные князья, раздавались служилым людям – опричникам, на которых опирался Грозный, борясь с внутригосударственной изменой.

Воспоминание об опричниках почему-то обидело князя Холмского, и он захотел отплатить оратору колкостью. Поблагодарив за тост, которым заканчивался спич Камнева, он прибавил:

– Еще радуюсь и тому, что вижу земщину одетой как следует.

Камиев, может быть, проглотил бы молча эту проконсульскую выходку, но, на беду, одна из барышень Самсоновых громко хихикнула, а этого оратор простить не мог. Переждав несколько секунд, он обратился к губернатору:

– Скажите мне, князь, ведь князья Холмские происходят от Рюрика?²⁵

– Ну да, от Рюрика, – ответил неохотно тот, почуяв что-то недоброе, – что за вопрос?

– Вопрос мой вызывает другой вопрос. Почему присутствие князя Рюрикова дома заставляет другого столбового дворянина променять одежду, полученную им в преемство от своих предков, на одежду по шутовскому образцу²⁶, как выразился наш гениальный Грибоедов?

Князь Холмский побагровел от гнева и не знал, что ответить. Только глаза его усиленно моргали и толстые пальцы барабанили по тарелке. Неловкое молчание, воцарившееся в зале, было прервано Кублищевым.

– Позвольте мне, многоуважаемый Николай Николаевич, – начал он своим мягким голосом, – высказать по этому поводу свое мнение, то есть даже не мнение, а мое личное ощущение. Я, как вам известно, всю жизнь носил военный мундир; теперь матушка требует, чтобы я вышел в отставку и поселился с нею. Я должен буду исполнить ее желание... конечно, если не будет войны, – прибавил он в сторону князя Холмского. – И вот я себя спрашиваю: какую одежду следует мне носить в отставке? Вы изволили употребить выражение: по преемству. Мне кажется, что именно в силу этого самого преемства я должен носить ту одежду, которую носил мой отец, а не ту, которую носили мои отдаленные предки.

– Прекрасно сказано! прекрасно сказано! – закричал обрадованный губернатор, – совершенно согласен!

Камнев откинулся на спинку стула и начал гладить свою бороду, что доказывало, что он готовит громовый ответ. Ольга Борисовна, бывшая его соседкой, наклонилась к нему и прошептала:

– Николай Николаевич, прошу вас, прекратите этот спор. После обеда мы пойдем на балкон и вместе отделаем Simon, а теперь не возражайте, – сделайте это для меня.

Слова ее смягчили сурового оратора.

– Так и быть, откладываю на несколько часов казнь этого преторианца²⁷. Чего только не сделаю я для вас, моя Мадонна —

Чистейшей прелести чистейший образец!²⁸

Последний стих он продекламировал уже громко.

Остальная часть обеда прошла благополучно. С края, где сидела молодежь, слышался непрерывный смех; скоро все разговоры слились в один нестройный и оживленный гул. Антон к концу обеда приберег свою затейливую «штучку». Мороженое было подано в виде огромного зеленого холма, увенчанного княжеской короной. Этот каламбурный комплимент

²⁵ Рюрик – согласно летописной легенде варяжский князь, якобы приглашенный славянскими племенами для управления ими, родоначальник старейшей княжеской династии.

²⁶ Строка из монолога Чацкого в «Горе от ума» (д. III, явл. 22).

²⁷ В Древнем Риме *преторианцами* называли солдат личной охраны полководцев; в переносном смысле так именуют наемные войска, служащие опорой власти, основанной на грубой силе.

²⁸ Последняя строка из стихотворения Пушкина «Мадонна» (1830).

по адресу князя Холмского был встречен шумными знаками одобрения. По общему желанию Антон был вытребован в залу, и губернатор ласково потрепал его по плечу.

Тотчас после обеда губернатор ушел на пять минут, «чтобы засвидетельствовать свое почтение князю Борису Сергеичу», но пробыл у него более часа. Оказалось, что князь Брянский показывал и объяснял гостю планы предстоящей войны, которая очень его занимала.

– Все шло хорошо, – рассказывал потом губернатор княгине, опорожня большую рюмку коньяку, – только я сам испортил дело. Надо вам сказать, что князь Борис Сергеич расписал на своем плане не только корпусных командиров, но даже роздал дивизии и полки тем, кого по старой памяти считал способными. Не помню, какой корпус он дал Звягину, Николаю Иванычу; тут черт меня и дернул сказать ему, что Николай Иваныч умер. «Когда?» – Да уж третий год! – Ну, что тут произошло, вы и представить себе не можете. Закричал, затопал ногами... «Вы, говорит, видите, что у меня за семейка: такие люди, как Звягин 2-й, умирают, а мне два года об этом никто не скажет!..» Вы понимаете, что после этого все назначения надо было начинать сызнова, – вот я и засиделся.

Княгиня предложила князю Холмскому партию в вист, но тот отказался, говоря, что должен поспешить в Буяльск, «чтобы всех там застать врасплох». Развеселившийся и слегка подвыпивший, губернатор, видимо, хотел быть приятным и каждого обласкать на прощание.

– Sans rancune, n'est-ce pas?²⁹ – говорил он, добродушно пожимая руку Камнева. – Ну, так как же, по преемству, а? По преемству? Хорошо преемство!

И он залился громким смехом.

– Хорошо преемство, нечего сказать! – повторял он уже в передней, потрясая смехом свои густые эполеты. – По-нашему это – кучерской армяк, а по-ихнему это называется преемство.

Почти вся молодежь вышла на крыльцо провожать князя. Усевшись в коляске, он снял фуражку, послал общий воздушный поцелуй, и губернаторская четверка помчалась, нагоняя исправника, который сломя голову летел в Буяльск вестником приближающейся грозы.

Вечер начался музыкой. Маковецкий сел за фортепиано и сыграл ритурнель³⁰. Все взоры обратились к Фелицате Ивановне, старшей из девиц Самсоновых. Она начала было отговариваться, но мать довольно грозно прикрикнула на нее, и Фелицата спела бесконечный французский романс, состоявший из спряжения во всех временах и наклонениях глаголов *aimer* и *souffrir*³¹.

Потом Маковецкий сыграл сонату «*Quasi una fantasia*»³². Княгиня объявила, что от серьезной музыки у нее голова болит, и увела своих старичков играть в преферанс. Четвертым они взяли барона Кнопфа. Едва только барон скрылся за дверью, Сережа подсел к баронессе и начал ей что-то нашептывать. Сережа вообще говорил мало, но, вероятно, речь его была убедительна, потому что баронесса слушала его с улыбкой, а перед концом сонаты незаметно встала и перешла на балкон. Сережа последовал за нею.

После сонаты раздался голос Сони, певшей романс Глинки: «Уймись, волнения страсти»³³. Она никогда не училась петь, но ее густые, бархатные, контральтовые ноты имели чарующую прелесть, и пела она с таким выражением, какого никак нельзя было ожидать от шестнадцатилетней девушки, почти ребенка. Вне себя от восторга, Угаров подбежал к ней и просил ее спеть еще что-нибудь.

²⁹ Не будем злопамятны, хорошо? (*фр.*).

³⁰ Вступительный наигрыш к вокальной или танцевальной музыке.

³¹ любить и страдать (*фр.*).

³² Лунная соната Бетховена.

³³ Романс М. Глинки «Сомнение» на слова Н. В. Кукольника.

– Нет, пожалуйста, княжна, не пойте ему больше! – сказал Горич, вертевшийся возле фортепиано, – а то вы и второе пари выиграете с меня...

– Я и без того выиграю... если захочу! – отвечала Соня, победно взглянув на Угарова. Угаров начал расспрашивать, в чем состояло пари, но Маковецкий перебил его.

– Ну, Соня, ты сегодня так пела, что мне хочется поцеловать тебя. Можно?

Соня быстрым взглядом окинула залу и, сказав: «да, теперь можно», кокетливо подставила ему лоб для поцелуя. Угаров тоже оглянулся и увидел, что в эту минуту Ольга Борисовна входила из гостиной в залу. Эта маленькая сцена почему-то больно уколола его.

Между тем Александр Викентьевич уже играл вальс, и Кублишев, подойдя к Соне, открыл с нею бал. Угаров не любил танцевать, и при виде танцев ему всегда делалось немного грустно. Теперь же у него еще кружилась голова от вина, выпитого за обедом, – он пошел в сад. В левом, темном углу балкона Сережа тихо, но оживленно разговаривал с баронессой. Направо, около лампы, Камнев громко говорил Самсонову:

– Позвольте заметить вам, милейший Иван Петрович, что вы это место не так читаете. Ведь вы знаете, что стих: «И дым отечества нам сладок и приятен» – не принадлежит Грибоедову³⁴. Чацкий произносит его как цитату, а потому его нельзя говорить просто, а надо именно декламировать...

«Боже мой, сколько нового узнал я в эти сутки, и какие тут все умные люди!» – думал Угаров, подходя к гигантским шагам и усаживаясь на скамейке. Но свежесть и красота тихой летней ночи невольно перевели его мысли на Соню.

«Как это странно, – думал он, – что в течение целых суток я почти не думал о Соне и только сейчас почувствовал, до какой степени люблю ее. Что это за чудное создание... только зачем она так кокетничает со всеми и даже с Маковецким и какое пари держала она обо мне с Горичем?»

Вдруг Угарову послышались какие-то шаги. Он встал со скамьи. Две тени появились у входа. Тихий голос прошептал: «здесь кто-то есть», потом все скрылось, и Угарову показалось, что при бледном свете луны он узнал стройную фигуру Сони. Сердце его застучало, почти бегом вернулся он в дом. На балконе по-прежнему раздавались сдержанный голос Сережи и густой бас Камнева. В доме все были налицо, кроме Сони и Горича. Через несколько минут они вошли из разных дверей. Угарову сделалось невыразимо тяжело. Он ушел во флигель, разделся и бросился в постель. Напрасно он повторял себе, что он не имеет никакого права ни ревновать, ни сердиться на Соню, что он для нее совсем чужой человек. «Нет, не чужой», – шептал ему какой-то другой, внутренний голос, и все, что с ним случилось, казалось ему невыносимой обидой. Угаров слышал, как через несколько часов пришли Сережа и Горич, но, не желая разговаривать с ними, притворился спящим. В эту минуту он глубоко их ненавидел. Он ненавидел еще и Соню, и всех этих барышень Самсоновых, и всех этих умных людей, говорящих так хорошо, и даже барона Кнопфа, голоса которого он не слышал, но о рыжих баках которого не мог вспомнить без отвращения.

³⁴ Известные строки из «Горя от ума» – переложение строки Г. Державина: «Отечества и дым нам сладок и приятен» («Арфа», 1798), которая восходит к античной поговорке: «И дым отечества сладок».

VI

Семейство Самсоновых, гостившее в Троицком более двух недель, должно было уехать 12 июля, а потому все общество собралось к прощальному завтраку. Угаров должен был выехать вечером вместе с Приидошенским, у которого было дело в Медлянке и который был очень рад найти попутчика. Только что все уселись за стол, в столовую вошел Дементий, старый камердинер князя Бориса Сергеевича, бывший некогда его денщиком. Дементий никогда почти не выходил из половины князя и на остальные комнаты дома смотрел с оттенком презрения. Княгиня его не любила и слегка боялась, потому что он знал многое, что было тайной для всех. Подойдя к Угарову, Дементий громким голосом произнес:

– Его сиятельство просят вас пожаловать фрыштыкать к ним в кабинет.

Если бы в эту минуту пошел снег, это менее удивило бы присутствующих, чем слова Дементия. Завтракать с князем – было постоянной прерогативой Ольги Борисовны. Иногда в старину приглашался туда Маковецкий, но в этом году и он ни разу не был удостоен этой чести.

Войдя в кабинет, Угаров увидел князя сидящим в большом кресле перед круглым столиком, накрытым на четыре прибора. Возле князя помещалась Ольга Борисовна, а напротив его, на высоком стуле, сидел Боря. Старая няня стояла за ним и разрезывала для него на мелкие куски куриную котлетку. Лицо у князя было спокойное и довольное.

– Садись, – сказал он ласково Угарову, указывая на пустое место. – Я не хотел, чтобы сын моего друга уехал, не побывав у меня. Ведь там ты не у меня; только здесь ты видишь мою, настоящую мою семью.

Ольга Борисовна при этих словах нахмурила брови, но промолчала.

Выпив шампанского за здоровье вчерашней именинницы, князь еще повеселел и велел Дементию снять со стены большую картину в старинной раме красного дерева. Картина изображала группу офицеров, и князь предложил Угарову найти между ними его отца. Угаров, видевший множество портретов отца в молодости, сейчас нашел его.

– Молодец! – воскликнул князь, – ну, а теперь найди меня!

Угаров всмотрелся в лицо и указал на молодого, стройного офицера в расстегнутом сюртуке и со стаканом в руке.

– Правда, это я; но неужели же я похож теперь на этот портрет?

– Я узнал вас, князь, по сходству с Ольгой Борисовной.

– Видишь, Оля, видишь! – закричал обрадованный князь, – вот чужой человек, – и тот прямо по сходству узнает нас. Да, мой милый, и по сходству, и по душе это единственная моя дочь. Она меня любит, она не холодна ко мне, как те другие...

Ольга Борисовна не выдержала, лицо ее покрылось ярким румянцем.

– Послушай, папа, ты сейчас назвал Владимира Николаевича чужим человеком... Зачем же ты при чужом человеке заставляешь меня сказать тебе, что ты говоришь неправду? И Сережа и Соня любят тебя так же, как я; не они к тебе, а ты к ним и холоден, и несправедлив.

– Ну, довольно, довольно, Оля, прости меня, если я тебя огорчил, но мнения моего ты не переменишь... Борька! – воскликнул он вдруг, чтобы переменить разговор, – на кого ты похож?

– Я похож на маму, – отвечал Боря, отрываясь от котлетки.

– А мама на кого похожа?

– Мама похожа на дедушку.

– А дедушка на кого похож?

Два первые вопроса, вероятно, предлагались Боре не раз, а потому он отвечал на них бойко. Но третий вопрос застал его врасплох. Внимательно посмотрев на князя, он после некоторого раздумья отвечал:

– Дедуска похос на обезьяну.

– Ах, какой стыд! ах, какой срам! – закричала няня, всплеснув руками. – Разве можно так говорить? Ты должен сказать: я дедушку люблю и почитаю больше отца родного, а ты вдруг: на обезьяну! Ну, осрамил ты меня, Боренька, на старости лет!

Но дедушка заливался громким, веселым смехом.

– Молодец, Борька, правду сказал, не слушай няньку! Ты великий сердцевец: дедушка твой именно обезьяна, старая, негодная обезьяна.

Боря обратил к няне свои серьезные глаза.

– Видись, няня, я казал тебе, дедуска похос на обезьяну. В новом порыве негодования няня схватила на руки великого сердцеведа и унесла его из кабинета.

В это время в спальне княгини, куда она после завтрака увела Приидошенского, происходил следующий разговор.

– Как же, благотельница, с Лаптевым? Он мне прямо сказал, что подаст ко взысканию, если я не привезу процентов.

– Да откуда же я возьму денег? К мужу приступить нельзя. Если бы третьего дня Христина Осиповна не выклянчила у него триста рублей, я бы не знала, как и обернуться.

– Да вы, благотельница, рассчитывали на симбирское имение.

– Приезжал приказчик на прошлой неделе, привез, говорят, восемь тысяч, да я, на грех, в тот день поздно встала. А князь, как узнал, что приказчик тут, потребовал его в кабинет, отобрал все деньги и велел сейчас же ехать обратно в Симбирск. Когда я проснулась, его и след простыл.

– Да-с, это штучка. Что же князь Борис Сергеевич делает с деньгами?

– Прячет, все прячет в свой письменный стол; там у него десятки тысяч лежат, а тут плати проценты...

– Не отдает ли он денежки Ольге Борисовне?

– Нет, Оля сказала бы, она не такая. Да, Тимофеич, каждый день с ним все труднее и труднее жить. Какие-то капризы, странности. Сегодня, ты слышал, зачем-то Угарова потребовал...

– А вот, благотельница, к слову сказать: не прозевайте этого женишка для княжны, как прозевали Кублицева для Ольги Борисовны...

– Какого женишка? Угарова? Да он, кажется, и не богат совсем.

– Ну нет, матушка, у Марьи Петровны Угаровой денег куры не клюют, да и имение богатейшее, и сын один. Владимир Николаевич, пожалуй, будет со временем самый богатый жених в губернии.

Княгиня задумалась.

– Как же, благотельница, насчет Лаптева?

Переговоры насчет Лаптева кончились тем, что Приидошенский обязался внести проценты и, сверх того, дал княгине несколько пятидесятирублевых серий, а княгиня подписала «заемное письмо», которое у Тимофеича было заготовлено на всякий случай.

Когда Угаров ушел от князя, он застал в гостиной целую баталию. Девушки Самсоновы, подкрепляемые всем остальным обществом, уговаривали мать пробыть еще несколько дней в Троицком. Иван Петрович соблюдал нейтралитет, но супруга его была непреклонна; наконец, у нее вырвалось согласие пробыть еще один лишний день, а так как следующий день приходился на тринадцатое число, то было решено, что они едут непременно 14 июля утром. Потом все приступили с такой же просьбой к Угарову, который сопротивлялся слабо и скоро сдался. Княгиня пошла писать к Марье Петровне извинительное письмо, которое Прии-

шенский взялся завезти сам на следующий день в Угаровку. Со своей стороны и Угаров написал матери коротенькую записку.

Теперь все помыслы Угарова были устремлены на то, чтобы объясниться с Соней. Он не знал, в чем именно будет состоять объяснение, но чувствовал его необходимость. Как нарочно, случая не представлялось. С утра накрапывал дождь, гулять было невозможно, все общество поневоле находилось вместе. Соня вовсе не говорила с Угаровым и не обращала на него никакого внимания. Княгиня, напротив того, была с ним любезна. За обедом она посадила его около себя и тихонько допрашивала его, что он делал у князя и зачем тот приглашал его. К концу обеда княгине понадобилось спросить что-то у Сережи, но, ко всеобщему удивлению, его за обедом не оказалось. Никто из прислуги не мог сказать, куда делся молодой князь, которого после завтрака никто не видел. Соня также, по-видимому, ничего не знала; но, когда княгиня выразила опасение, не утонул ли Сережа, купаясь, и хотела послать людей на реку, Соня успокоила мать, сказав, что брат, *кажется*, уехал в Буяльск к барону Кнопфу и что, *вероятно*, он часам к девяти вернется. Действительно, около этого времени Сережа вернулся и привез с собой артиллеристов. Опять начались танцы. Угаров совсем упал духом и смотрел на танцующих с таким мрачным лицом, что Соня, вероятно, сжалилась над ним. Когда в антракте между кадрилями ее попросили петь, она, проходя мимо Угарова, сказала ему:

– Видите, я не забыла вашу вчерашнюю просьбу, я спою для вас.

Этого слова было достаточно, чтобы Угаров воскрес. Он неистово аплодировал поющим, танцевал без устали и остальную часть вечера провел чрезвычайно весело, отложив объяснение до следующего дня.

На следующее утро погода прояснилась, а потому было решено не завтракать, а обедать в два часа, и после обеда ехать всем обществом к Камневу. К трем часам у подъезда стояли: знаменитый рыдван, долгуша, кабриолет и несколько верховых лошадей. Княгиня, выйдя на крыльцо, почувствовала внезапную усталость и решила остаться дома. Соня первая вскочила в кабриолет и взяла в руки вожжи. Горич, вертевшийся около кабриолета, хотел последовать ее примеру, но княгиня скомандовала с крыльца:

– Владимир Николаич, садитесь с Соней; вы еще не видали, как она хорошо правит.

Соня сделала недовольную гримасу, убившую мгновенно Угарова. Впрочем, она скоро повеселела. Благодаря вчерашнему дождю пыли не было, кабриолет катился быстро по гладкой дороге и далеко оставил за собою остальные экипажи. Соня болтала, очень верно переразвивала все общество, особенно хорошо подражала пению Фелицаты Самсоновой. Въехав на небольшой пригорок, она заявила, что половина дороги уже сделана. «Как только спустимся с пригорка, – подумал Угаров, – начну объяснение». Но они проехали еще с версту, прежде чем он решился. Наконец, он начал очень запутанной и неуклюжей фразой.

– Знаете, княжна, когда кто-нибудь кем-нибудь интересуется, он делается очень наблюдателен и проницателен. Вот я заметил, что вы были недовольны, что я сел в кабриолет, потому что хотели ехать с кем-нибудь другим.

– Что я была недовольна, это правда, – отвечала Соня, сдерживая лошадь, – но вовсе не оттого, что хотела ехать с другим. Я вообще не люблю, чтобы мной распоряжались, как вещью. Я, может быть, хотела сама пригласить вас...

Эта фраза совсем воскресила Угарова, и после нескольких подходов он решился спросить, какое пари Соня держала о нем с Горячем.

– Вы слишком любопытны, а впрочем, я, пожалуй, скажу. Я держала пари, что вы уедете отсюда влюбленным... в кого – это все равно... хотя бы в Фелицату.

Кабриолет ехал шагом. Увидев, что экипаж приближается, Соня ударила лошадь вожжой и спросила:

– Ну, что же, я выиграю или проиграю?

– Право, не знаю. Может быть, я уже приехал сюда влюбленным.

– Это невозможно: вы с Фелицатой не были знакомы.

– Зачем вы смеетесь, княжна, над чувством, которого вы не знаете? Впрочем, смейтесь, сколько хотите, но теперь я выскажу все, что накопилось у меня в душе...

Кабриолет повернул налево и остановился у одноэтажного белого дома с крыльцом из резного дуба.

– Ну, вот мы и приехали! – воскликнула Соня, выскакивая из экипажа. – *Suite au prochain numero*³⁵.

Камнев, обедавший по обычаю предков очень рано, пил кофе на балконе с m-Ue Leontine, смазливой швейцаркой, жившей у него en qualite de lectrice³⁶. Хотя гости не извещали его о приезде, но были встречены у подъезда изящным лакеем в штиблетах и ливрее. Когда молодая ватага с шумом и криком ворвалась на балкон, m-lle Leontine встала, скромно поклонилась и немедленно исчезла. Камнев встретил гостей с большою радостью и пошел показывать тем из них, которые были у него в первый раз, свой дом. Дом был небольшой, но уютный, и казался перенесенным из города. Во всех комнатах стояла дорогая мебель, везде были мягкие ковры, бронза, статуи. Две большие комнаты были заняты библиотекой, которую хозяин собирал неумоимо с самых молодых лет. В простенках между окнами висели портреты всевозможных знаменитостей – древних и новых; последние были большею частью с собственноручными подписями. Пока гости осматривали дом, Иван Петрович Самсонов увидел на балконе новую, только что полученную с почты книжку «Современника». Разрезав прежде всего страницы, на которых были напечатаны стихотворения, он остался ими недоволен, принялся за критический отдел и сразу напал на очень меткую и злую статью против славянофилов³⁷. Когда он прочитал ее Камневу, тот вознегодовал, и у них начался ожесточенный спор, а Соня объявила себя хозяйкой дома и повела всех гостей в сад. Сад, как и дом, свидетельствовал об изящном вкусе и сибаритских наклонностях его обладателя. Услышав невдалеке от дома какую-то веселую хоровую песню, гости пошли на эти голоса и при входе в большую аллею серебристых тополей увидели несколько красивых баб в пестрых поневах и с большими кичками на головах; на их обязанности было чистить дорожки, и они составляли садовый штат под начальством старого садовника-немца, выпитанного Камневым из Риги. Старичок-садовник не замедлил тоже появиться и предложил гостям зайти в грунтовый сарай и заняться вишнями. Потом он повел их в оранжерею, где показал несколько редких экземпляров камелий. Целые сотни деревьев ломились под тяжестью золотых, еще не созревших слив и зеленых, слегка зарумянившихся персиков. Потом были осмотрены парники, огород и дальний фруктовый сад за рекой, которую надо было переезжать на пароме. Подходя к дому после двухчасовой прогулки, гости слышали чей-то громкий декламировавший голос.

– Не стихи ли опять читают? – спросил один из артиллеристов.

– Ну нет, вы их не знаете, – отвечала Фелицата, – теперь им не до стихов. Уж если они заспорят, этому конца не будет. Вот увидите, что Николай Николаич поедет с нами в Троицкое, чтобы переспорить отца.

Спорщики сидели на балконе с красными воспаленными лицами, пот лил с них градом.

³⁵ Продолжение в следующем номере (фр.).

³⁶ в качестве чтицы (фр.).

³⁷ Летом 1853 г. (время действия VI главы) в «Современнике» не было «меткой и злой» статьи против славянофилов. Апухтин мог иметь в виду одну из прежних работ Белинского, который в конце 1840-х гг. вел острую полемику со славянофилами, например, «Ответ „Москвитянину“» (Современник, 1847, № 11); того же направления придерживался Чернышевский в статье «Бедность не порок» (рецензия на пьесу А. Н. Островского – Современник, 1854, № 5), в «Очерках гоголевского периода русской литературы» (1855–1856), но это было позднее. В связи с теми спорами, которые ведутся в романе, автор ввел упоминание об одной из таких статей со сдвигом во времени.

– Подобный вздор, – кричал Камнев, – мог сказать только такой неисправимый западник, как вы...

– Да позвольте! – кричал также обозлившийся Иван Петрович, – вы гораздо более западник, чем я. Приезжайте ко мне в деревню, и вы увидите чисто русскую усадьбу – почти в том же виде, в каком она стояла полтора столетия тому назад. А как назвать то место, где мы теперь находимся? Это вилла – бесспорно, красивая, но все-таки вилла, это – *chalet*³⁸, все что угодно, но не русская усадьба. У меня прислуга вся русская, а у вас садовник – немец, повар – француз, чтица – швейцарка. Правда, платье на вас русское, да и то, я думаю, потому, что оно вроде халата, и вам в нем просторнее.

– Вот, вот она, привычка западников останавливаться на поверхности вещей! – перебил Камнев. – Я действительно заимствую у Европы удобства жизни, но поймите, что суть дела не в этом, а в миросозерцании, в воззрениях, – одним словом, в духовной жизни человека...

– А армяк и плисовые шаровары – это что такое: поверхность или внутренняя жизнь?

Обязанности хозяина помешали Камневу ответить на этот вопрос. Он пригласил гостей перейти в столовую, где уже был накрыт стол с чаем, фруктами, мороженым и всевозможными вареньями. Там, однако, спор возобновился и уже не прерывался вплоть до отъезда. Предсказание Фелицаты не сбылось, т. е. Камнев не поехал в Троицкое, но зато Иван Петрович остался у Камнева и вернулся один только к утру.

Угаров беспрестанно смотрел на часы и с нетерпением ждал минуты отъезда. Теперь он обдумал все фразы своего объяснения и был уверен, что не смутится, произнося их. Но его ждал неожиданный удар. Выйдя на крыльцо, Соня предложила Фелицате сесть в кабриолет и посадила с ней артиллериста, к которому та была равнодушна, а сама схватила за руку Кублицева и повлекла его в рыдван, где уже сидела мать Фелицаты с Маковецким. Угаров поневоле очутился в долгуше кавалером Ольги Борисовны. Он не умел владеть собой, и лицо его выразило такое страдание, что Ольга Борисовна, пристально взглянув на него, улыбнулась своей доброй, полной участия улыбкой. Угаров поблагодарил ее в душе за эту улыбку и с восторгом проговорил с нею всю дорогу, повторяя про себя, что она красивее и добрее своей сестры и что с этого вечера он непременно полюбит ее.

– Пожалуйста, Владимир Николаевич, – сказала она ему, между прочим, – не придавайте значения тем словам, которые отец говорил вчера при вас. Это не он говорил, а его болезнь.

В Троицком, в передней висела военная шинель. Соня тотчас угадала, что это шинель барона Кнопфа. Действительно, барон сидел в гостиной и играл в преферанс с княгиней и Христиной Осиповной. Приехал же он в Троицкое для того, чтобы пригласить все общество на бал, который он устраивал в честь губернатора на следующий день в буяльском городском саду. Опять начались приставания к госпоже Самсоновой, чтобы она отложила свой отъезд. Она не соглашалась, ссылаясь на отсутствие мужа, без которого она будто бы ничего не может решить; но когда Кнопф ей заявил, что, в случае ее отказа, он должен будет отменить бал, этот аргумент так на нее подействовал, что она положила остаться еще два дня, но уже без дальнейших проволочек, в последний раз. Угаров на приглашение Кнопфа отвечал решительным отказом.

– Однако, я не вижу, что вы выиграли пари, – говорил через час после этого Горич, ходя с Соней по бальной зале. – Если бы он был влюблен, он исполнил бы вашу просьбу.

– Во-первых, – отвечала Соня, покраснев от досады, – я его не просила. А во-вторых, если я его попрошу, то он, конечно, согласится.

– Ну, хорошо, мы так и решим. Если Угаров будет завтра на балу, я проиграл; если не будет, проиграли вы.

³⁸ швейцарский домик (*фр.*).

Горич знал отношения, существовавшие между Угаровым и его матерью, и думал, что он играет наверняка.

Угаров в это время стоял в дверях балкона и инстинктивно следил за Соней.

– Владимир Николаевич, мне нужно поговорить с вами, – сказала ему мимоходом Соня, сходя в сад.

Они направились к гигантским шагам.

– Вы, кажется, на меня обиделись? – спросила ласковым голосом Соня, когда они уселись на скамье, – но, право, я не виновата. Фелицата просила меня уступить ей кабриолет. Не могла же я отказать ей.

– Я не могу обижаться на вас, – отвечал Угаров голосом, полным обиды. – Но мне больно, что вы даже не хотели выслушать все то, что меня мучило эти дни, что вы, видимо, смеетесь надо мною... Когда я приехал к вам, вы были так со мной любезны, но потом все переменялось. Чем я провинился перед вами?

– Я буду с вами откровенна, Владимир Николаевич. У вас иногда такое мрачное лицо, что мне, право, страшно подойти к вам. Неужели, когда любишь, надо сейчас принимать похоронный вид? Неужели любовь всегда драма?

– Значит, вы поняли, что я люблю вас, и не сердитесь за это? – воскликнул Угаров в полном блаженстве.

– Да, я поняла и не сержусь, и даже считаю себя вправе поэтому обратиться к вам с большой просьбой. Вы ее исполните?

– Если вы потребуете мою жизнь, и та в вашем распоряжении.

– Нет, я ее не потребую, а только прошу вас потанцевать со мною мазурку завтра у Кнопфа.

Угаров побледнел.

– Это совершенно невозможно. Вы ведь знаете, что я уже просрочил два дня. Будет непростительно гадко, если я не проведу с матушкой день моих именин.

– Вы поспеете, ведь бал в Буяльске. Тотчас после бала Абрамыч даст вам свою лучшую тройку...

– Не мучьте меня, княжна; это совершенно невозможно.

– Ну, а если... – начала Соня и замялась.

То, что она собиралась сказать, показалось ей и страшно и стыдно. Она хотела встать и уйти, но после продолжительной борьбы с собою осталась. Очень уж ей было обидно понести поражение перед Горичем.

– Ну, а если, – сказала она почти шепотом, – если повторится то, что было на станции в Буяльске, тогда вы останетесь?

Угаров задрожал, как в лихорадке, и ничего не ответил.

Соня схватила его голову обеими руками, поцеловала его в лоб и убежала, прежде чем он пришел в себя.

Через минуту она тихими, беззвучными шагами вошла на балкон и, проходя мимо Горича, сказала совершенно спокойно:

– Яков Иваныч, вы проиграли пари.

VII

Марья Петровна весело простилась с сыном и старалась сохранить наружное спокойствие при сестре, но, оставшись одна, она заперлась в спальне, уселась в красное сафьяновое кресло, долго служившее ее покойному мужу, и дала полную волю слезам и горьким думам. Имя Брянских напоминало ей очень тяжелую эпоху жизни. Князь Брянский был другом Николая Владимировича, нередко посещал его в Угаровке, и Марья Петровна питала к нему большое расположение; но все это изменилось с тех пор, как на выборах в Земееве она встретилась с княгиней Брянской – первой красавицей и кокеткой в губернии. Ей показалось, что муж ее равнодушен к княгине, и чувство ревности – самое сильное, какое она когда-либо испытала в жизни, – отравило ей целый год существования. Самая крупная ссора с мужем произошла как раз в этот день, 10 июля – семнадцать лет тому назад. Он собирался ехать на бал в Троицкое, несмотря на слезы, мольбы и упреки Марьи Петровны, длившиеся целую неделю. Кончилось тем, что она, как и всегда, победила. Николай Владимирович не поехал, но с тех пор все отношения между Угаровыми и Брянскими прекратились. До Марьи Петровны доходили, правда, темные слухи о похождениях княгини; говорили, что и болезнь князя была последствием семейных огорчений, но Марья Петровна не любила слушать сплетни. «Ну что, бог с ней», – говорила она о княгине и старалась забыть о ней.

И вот, через восемнадцать лет, опять это ненавистное имя врывается в ее жизнь, благодаря Володе. К ее великому огорчению, она даже не знала, из кого состоит семейство Брянских. Она не могла допустить, чтобы Володя поехал за сто верст из дружбы к товарищу, о котором прежде никогда не упоминал ни в рассказах, ни в письмах. Очевидно, кто-нибудь помимо товарища интересуется его в этой семье, – но кто именно? Она не хотела допрашивать сына перед отъездом, и теперь этот вопрос не давал ей покоя. Когда на другой день она сообщила свои волнения Варваре Петровне, та очень спокойно ответила ей:

– О чем же тут беспокоиться, Мари? Завтра Володя вернется и сам расскажет нам.

– Как завтра? – воскликнула Марья Петровна. – Володя сказал, что вернется двенадцатого или тринадцатого. Надо всегда предполагать худшее...

– Ну, в таком случае узнаем послезавтра.

Тринадцатого июля, во время вечернего чая раздался у подъезда звон колокольчика. Марья Петровна бросилась встречать Володю и, к великому разочарованию, увидела Придошенского. Тимофеич принадлежал также к категории лиц, о которых Марья Петровна говорила: «Бог с ним». Он сам инстинктивно чувствовал это и, чтобы обеспечить себе хороший прием, поспешил заявить, что приехал «с добрыми вестями от Владимира Николаевича», причем подал два письма. Володя писал, что ему очень весело и что он приедет непременно 14-го к вечеру. Письмо княгини, написанное крупным корявым почерком, было пространно и безграмотно. Она напоминала Марье Петровне об их старом знакомстве и извинялась в том, что насильно удержала Володю на два лишних дня. К этому она прибавляла: «Впрочем, это ваша вина, что вы воспитали такого милого и прекрасного молодого человека во всех отношениях. Мой бедный муж по своей болезни никого не любит видеть, но и он проводит целые часы в разговорах с Владимиром Николаевичем, и мне было жаль отнять у моего страдальца это утешение». Последняя фраза несколько примирила Марью Петровну с княгиней, а похвалы Володе невольно тешили ее материнское самолюбие. Придошенский весь вечер расхваливал семейство Брянских, особенно распространялся о красоте и других качествах Сони, которая, по его наблюдениям, очень приглянулась Володе. Марья Петровна была любезна как никогда с Тимофеичем, накормила его ужином и даже предложила ему ночевать в Угаровке, но он отказался и, уезжая, получил приглашение отпраздновать вместе Володины именины.

На следующий день Володя, по расчету Марьи Петровны, должен был приехать часам к восьми вечера, но уже десять часов пробило, и чай был отпит, а его не было. Марья Петровна сидела с сестрой в диванной на своем любимом месте и раскладывала пасьянс. Ночь была так тиха, что пламя свечей стояло неподвижно, несмотря на широко открытые окна. Пасьянс все не удавался; выходило, что Володя сегодня не приедет. Марья Петровна загадала, приедет ли он завтра – опять не вышло. Тогда она пустилась на хитрость и загадала, проведет ли он завтрашний день у Брянских, – и пасьянс, несмотря на умышленную рассеянность, вышел блистательно. Марья Петровна с негодованием бросила карты.

– Не понимаю я, Мари, из-за чего ты убиваешься, – сказала Варвара Петровна. – Ну, положим, что Володя не приедет, что он влюбился в эту княжну Брянскую, даже женится на ней – какое же в этом несчастье? Ведь должен же он когда-нибудь жениться, ведь Володе двадцать лет...

– Нет, Варя, нет, не говори этого. Ты слышала вчера, она, говорят, похожа на свою мать, а когда я вспомню эти черные глаза, эту вызывающую улыбку... нет, пусть бы он лучше женился на первой горничной... Двадцать лет проводила я вместе с Володей день его ангела, и вдруг из-за этой девчонки...

– Да он, вероятно, еще приедет, зачем горевать заранее?

Марья Петровна передвинула кресло к окну. Две липы и несколько кустов сирени отделяли окно от забора, за которым виднелась широкая проезжая дорога. Каждый далекий звук явственно выделялся среди глубокой тишины ночи. Вот где-то далеко-далеко прозвенело что-то вроде колокольчика, прозвенело и замолкло. Вот зашелестели листья, и какая-то большая птица точно свалилась с дерева, сделала перед самым окном круг по воздуху, потом высоко взвилась и исчезла. Какая-то собака хрипло завyla в поле; целый хор собак отвечал ей со стороны деревни долгим пронзительным лаем. Разбуженный собаками сторож ударил два раза в чугунную доску. Потом опять все замолкло...

– Однако, Мари, пойдем спать, – сказала, зевая, Варвара Петровна. – Ведь оттого, что мы проведем ночь без сна, Володя не приедет.

– Погоди, Варя, вот теперь наверное кто-то едет. Слышишь?

Хотя очень далеко, но явственно раздавался звон колокольчика, который то замолкал, то приближался; это продолжалось минут десять. Потом послышался стук экипажа, переезжавшего мосток внизу, потом экипаж медленно стал подниматься на крутую гору. Марья Петровна уже ясно слышала храп лошадей, мешавшийся с побрякиванием колокольчика, и скоро увидела высокую фигуру ямщика, курившего трубку, а потом поднятый верх экипажа – не то коляски, не то тарантаса. «Эй, вы, любезные!» – крикнул ямщик, стегнув кнутом лошадей, и тройка пронеслась мимо ворот по светлой и ровной дороге.

Марья Петровна решила наконец, что Володя не приедет, и ушла в спальню, но долго не могла заснуть. Ей беспрестанно чудился звон колокольчика и слышались какие-то голоса. Только к утру забылась она тяжелым тревожным сном.

Первая мысль ее при пробуждении была: не приехал ли Володя, но, увидев грустное лицо своей старой и верной горничной Лукерьи, она даже не решилась спросить об этом. Марья Петровна немедленно оделась и пошла в церковь, построенную ее мужем в нескольких шагах от дома. Когда она подошла к кресту, отец Василий нанес ей первый удар, спросив ее о причине отсутствия дорогого именинника. Второй подобный же удар был нанесен ей Придошенским, приехавшим очень рано. Потом приехал с дочерью Афанасий Иванович Дорожинский, только что вернувшийся из Петербурга. Это был очень видный и представительный господин большого роста, с пышными белокурыми усами, в которых уже пробивалась седина. Он держал голову высоко, манеры имел серьезные, иногда величавые. Варвара Петровна уверяла, что прежде, когда он был простым Афоней Дорожинским, в которого она была влюблена в детстве, манер этих у него не было; но, женившись на дочери откупщика

Кабанова, которая скоро умерла, оставив ему большое состояние, Афанасий Иванович начал поднимать голову все выше и выше. «Дайте ему еще немного разбогатеть, – прибавляла Варвара Петровна, – и вы увидите, что глаза у него совсем переедут на затылок». Специальностью Афанасия Ивановича была выгодная покупка имений; увидев Придошенского, он сейчас же повел его в сад, чтобы узнать от него кое-какие нужные ему сведения по этой части.

– Как это странно, *ma tante*³⁹, – говорила тем временем Наташа, – как это странно, что Володя не приехал. Ведь он знает, как вы его любите, как этот день дорог для вас... Нет, это просто непростительно.

Каждое слово Наташи точно ножом резало сердце Марьи Петровны, но она отвечала спокойно:

– Вероятно, что-нибудь важное задержало его. Я не могу и мысли допустить, что Володя сделал это по невниманию или равнодушию...

³⁹ тетушка (*фр.*).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Стоимость полной версии книги 39,90р. (на 02.04.2014).

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.